

ВОЙНА И МИР • ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА • СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА • БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ • ЛОЛИТА

БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ • ДЕКАМЕРОН • РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА • МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

ФАУСТ • ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОИХ СВОЙСТВ • ГОСПОЖА БОВАРИ • МЕРТВЫЕ ДУШИ • ОДИССЕЯ

100 главных книг



УЛИСС • МОБИ ДИК • В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

МЕТАМОРФОЗЫ • ГАРИАНТОА И ПАНТАГРЮЭЛЬ • ЗАМОК

ХРЕБТЫ БЕЗУМИЯ ГОВАРД ЛАВКРАФТ

МАСТЕР И МАРГАРИТА • ГАМЛЕТ • БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ • МАХАБХАРАТА • ДОН КИХОТ • ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

100 главных книг (Эксмо)

Говард Лавкрафт
Хребты безумия (сборник)

«ЭКСМО»

УДК 821.111-312.2(73)
ББК 84(7Coe)-44

Лавкрафт Г. Ф.

Хребты безумия (сборник) / Г. Ф. Лавкрафт — «Эксмо»,
— (100 главных книг (Эксмо))

ISBN 978-5-04-091750-1

Говард Филлипс Лавкрафт совершил революцию в литературе ужаса, сместив центр ее внимания с обычного земного мира на огромную, неизвестную, безразличную вселенную, существующую за пределами человеческого понимания. Писатель взял обычный мир и привнес в него нечто темное и потустороннее. В своих рассказах Лавкрафт смешал обыденную действительность и вселенский кошмар, показал столкновение простого человека с непостижимыми, а порой и смертельно опасными созданиями. В сборник включен роман «Хребты безумия», а также избранные рассказы одного из самых влиятельных мифо-творцев XX века.

УДК 821.111-312.2(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-091750-1

© Лавкрафт Г. Ф.
© Эксмо

Содержание

Картина в доме	6
Гипнос	11
Праздник	15
Модель Пикмана	21
Таинственный дом в туманном поднебесье	29
Грезы в ведьмовском доме	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Говард Филлипс Лавкрафт

Хребты безумия

Серия «Pocket book»

Серия «100 главных книг»

В оформлении обложки использована иллюстрация: Grandfailure / Istockphoto / Thinkstock / Gettyimages.ru

© Биндеман Л., перевод на русский язык, 2018

© Брилова Л., перевод на русский язык, 2018

© Володарская Л., перевод на русский язык. Наследник, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Картина в доме

Любители ужасов часто посещают необычные удаленные места. Катакомбы Птолемеев, высеченные из камня мавзолеи в средоточениях ужасов, будто для них созданы. Они поднимаются при лунном свете в башни полуразрушенных рейнских замков, спускаются с дрожью в коленках по черным, опутанным паутиной ступенькам в подземелья под руинами забытых городов Азии. Их храмы – заколдованный лес с призраками, одинокая гора, они слоняются возле мрачных валунов на необитаемых островах. Но истинные эпикурейцы ужасов, для которых неизведанная дрожь от невообразимого ужаса – конечная цель и смысл бытия, больше всего ценят старые заброшенные фермы в лесной глуши Новой Англии, ибо там темная сила, одиночество, абсурд и невежество сочетаются таинственными узами, достигая совершенства в отвратительном и ужасном.

Самое страшное кроется в убогих некрашенных домишках, притулившихся на сыром склоне холмов, прилегающих к скале. Так они и стоят два столетия или больше, прижавшись, притулившись, прилегая к чему-нибудь, и тем временем их оплетает дикий виноград, окружают деревья. Домишки почти незаметны в своевольном буйстве зелени, в осеняющей их тени. Их оконца тупо таращатся на мир, будто моргают, оцепенев от небытия, отгоняющего безумие, притупляющего в памяти жуткие события.

В таких домишках обитали поколения необычных людей, которые давно перевелись. Мрачная фанатичная вера взяла в тиски их предков, разлучила с родней, приучила к глухим местам и свободе. Здесь отпрыски победившей расы процвели, разорвав узы ограничений и запретов, здесь же они сгорбились от страха, угодив в страшное рабство собственных мрачных фантазий. Вдали от цивилизации и просвещения сила пуритан нашла странный выход, а их изоляция, мрачное самоистязание, борьба за выживание с безжалостной природой пробудили в их душах нечто тайное и темное – гены доисторических предков, живших в холодных северных краях. Жизнь воспитала в них практичность, вера – строгость, но греховность победила душевную красоту. Грешные, как и все смертные, но вынужденные скрывать свои грехи из-за строгости религиозных догм, они все меньше и меньше осознавали свои скрытые грехи. Только безгласные домишки в медвежьих углах могут поведать, что здесь кроется с давних времен, но они необщительны и не хотят стряхнуть дремоту, позволяющую им предать все забвению. Порой кажется, что милосерднее было бы снести эти домишки, чтобы спасти их от сонного оцепенения.

В ноябре 1896 года холодный проливной дождь загнал меня в такой ветхий дом: я был рад оказаться под любой крышей. Я предпринял поездку в Мискатоник-Вэлли в поисках некоторых генеалогических данных. Дело представлялось мне весьма проблематичным, с небольшими шансами на успех, и потому я решил отправиться в путь на велосипеде, несмотря на позднюю осень. Желая проехать кратчайшим путем в Аркхем, я оказался на проселочной дороге, которой явно не пользовались, да еще попал под проливной дождь. Никакого прибежища поблизости не имелось, только этот ветхий деревянный неприятного вида дом с тусклыми окнами меж двух огромных облетевших вязов. Хоть он стоял далеко от дороги, у подножия скалистой горы, дом произвел на меня гнетущее впечатление с первого взгляда. Добропорядочные, крепкие дома не косятся на путешественников так хитро и навязчиво. Занявшись генеалогическими исследованиями, я ознакомился с легендами прошлого века, настроившими меня против подобных прибежищ. Но разбушевавшаяся стихия вынудила меня забыть о предрассудках, и я погнал велосипед по заросшей тропинке в гору, к закрытой двери дома, одновременно потаенной и манящей.

Я почему-то считал само собой разумеющимся то, что дом заброшен и пуст, но, когда подъехал поближе, уверенности во мне поубавилось. Дорожки заросли, но все же они отчет-

ливо просматривались, и это противоречило моей версии о полном запустении. Не пытаясь открыть дверь, я постучал, и внезапно меня охватил безотчетный страх. Я стоял на грубом мшистом камне, служившем порогом, и смотрел на оконные рамы и фрамугу у себя над головой. Хоть и старые, со стеклами почти матовыми от грязи, рамы были целые. Значит, в доме живут, несмотря на его удаленность и заброшенный вид. Однако на мой стук никто не отозвался. Я постучал снова, а потом тронул ржавую щеколду. Дверь оказалась незапертой. Внутри была маленькая прихожая с обвалившейся штукатуркой, и через дверь доносился слабый, но крайне неприятный запах. Я вошел, втянул велосипед и закрыл за собою дверь. Впереди уходила вверх узкая лестница, дверь сбоку от нее, вероятно, вела в подвал. Справа и слева от себя я увидел закрытые двери комнат первого этажа.

Привалив велосипед к стене, я открыл дверь слева и вошел в маленькую комнату с низким потолком, тускло освещенную двумя запыленными окошками, крайне бедно обставленную. Судя по всему, она служила чем-то вроде гостиной: здесь стояли стол, несколько стульев, здесь же находился огромный камин, и на каминной полке тикали старинные часы. В полумраке я не мог даже прочесть названия нескольких лежавших тут книг. Все вокруг несло на себе отпечаток старины, это меня и заинтриговало. В здешних краях я нашел много реликвий прошлого, но тут царил дух антикварной лавки: я не заметил в комнате ни единого предмета, относящегося к периоду после Войны за независимость. Если бы не скудность обстановки, комната была бы раем для собирателя старины.

Осматривая странное жилище, я почувствовал, что отвращение, вызванное во мне его внешней неприглядностью и мрачностью, усиливается. Не берусь определить, чего именно я боялся, что меня отвращало, но, скорее всего, сама атмосфера дома, пронизанная духом греховного века, его грубостью и тайнами, которые лучше позабыть. Не возникало даже желания посидеть, и я бродил по комнате, разглядывая различные предметы, на которые сразу обратил внимание. Мое особое любопытство вызвала лежавшая на столе книга весьма допотопного вида, и я удивился, что увидел ее не в музее или библиотеке. Книга в кожаном переплете с металлическими застежками прекрасно сохранилась. Здесь, в этом убогом жилище, ей было явно не место. Открыв титульный лист, я удивился еще больше: редчайшее издание – описание Пигафеттой района Конго на латыни, сделанное на основе путевых заметок моряка Лопекса. Книга была напечатана во Франкфурте в 1598 году. Я часто слышал об этом издании, о любопытных иллюстрациях братьев Де Брай, и, жадно перелистывая страницы, забыл на время про свое неприятие окружающего. Гравюры представляли несомненный интерес. Художники вдохновлялись богатым воображением и небрежным описанием и потому изображали бледнолицых негров с кавказскими чертами лица. Я не скоро закрыл бы книгу, если бы не сущая мелочь, действовавшая мне на нервы, возрождавшая чувство неосознанного беспокойства. Меня раздражало, что книга то и дело раскрывалась на гравюре XII, где с мрачной подробностью воспроизводилась обстановка мясной лавки племени каннибалов. Мне стало стыдно за излишнюю чувствительность к таким мелочам, но рисунок вызвал у меня неприятные эмоции, особенно в сочетании с описанием гастрономических вкусов каннибалов.

Я заглянул на полку по соседству и изучил ее скудное содержимое – Библию восемнадцатого века, «Путь паломников» того же времени с гротескными гравюрами, напечатанную издателем альманахов Исайей Томасом, пресловутый фолиант Коттона Мэзера «*Magnalia Christi Americana*» и несколько других книг приблизительно того же периода. Вдруг мое внимание привлек отчетливый звук шагов в комнате наверху. Я испуганно вздрогнул, вспомнив, что никто не ответил на мой стук в дверь, но тотчас заключил: хозяин только что пробудился от крепкого сна. Потом я уже спокойнее слушал, как кто-то спускается по скрипучим ступенькам. Походка у этого человека была тяжелая и в то же время какая-то крадущаяся. Мне такое сочетание не понравилось. Зайдя в комнату, я прикрыл за собою дверь. Теперь после некоторого затишья в передней – вошедший, очевидно, разглядывал мой велосипед – послышалось

звяканье щеколды, и входная дверь распахнулась. В дверях стоял человек столь необычной внешности, что я вскрикнул бы от удивления, не будь я с детства приучен к сдержанности. Старый, оборванный, седобородый, мой хозяин тем не менее вызывал почтительное удивление, и причина тому – необычное лицо и телосложение. Он был не менее шести футов ростом и, несмотря на старость и нужду, крепок и плечист. Лицо, почти скрытое длинной бородой, было румяное и не такое морщинистое, как у других стариков. На высокий лоб падала копна седых волос, незначительно поредевших со временем. Взгляд голубых, слегка налитых кровью глаз поражал остротой и живостью. Если бы не вопиющая неопрятность, он производил бы весьма внушительное впечатление. Но неопрятность отталкивала, несмотря на приятную внешность и ладную фигуру. Я даже затрудняюсь описать его одежду – какая-то груда рванья над высокими тяжелыми сапогами, а что касается нечистоплотности, тут уж и слова бессильны.

Странная внешность этого человека и инстинктивный страх, им внушаемый, подготовили меня к некоей враждебности с его стороны, и потому я вздрогнул от неожиданности и чувства жуткой несообразности, когда он указал мне на стул и обратился ко мне тонким голосом, исполненным льстивого почтения и угодливой вежливости. Речь его была чрезвычайно любопытна. Передо мной сидел настоящий янки, а я полагал, что этот диалект давно исчез, и потому особенно внимательно вслушивался в его речь.

– Дождем прихватило? – начал он вместо приветствия. – Повезло еще, что возле дома оказался, да ума хватило зайти. Я, похоже, спал, а то бы услышал. Нынче я уж не такой, как бывало, то и дело прикладываюсь, дрема одолевает. А ты издалека будешь? Нынче народ сюда ни ногой, новую, видишь, дорогу в Аркхем проложили.

Я отвечал, что направляюсь в Аркхем, и извинился, что вторгся в его дом непрошеным гостем, а он тем временем продолжал:

– Рад видеть тебя, молодой господин, нынче здесь редко кого увидишь, тоска за душу берет. Ты, верно, из Бостона? Мне там не доводилось бывать, но городского сразу видно. Было дело, приезжал сюда учитель в восемьдесят шестом, строгий такой. Был да сплыл, с тех пор о нем ни слуху ни духу.

Тут старик залился клохчущим, мелким смехом и не объяснил, в чем дело, хоть я его и спрашивал. Он пришел в чрезвычайно веселое расположение духа, но, судя по его виду, от него можно было ждать эксцентричных выходок. Некоторое время он, все больше возбуждаясь, излучая добродушие, продолжал свой бессвязный рассказ, и мне вдруг пришло в голову спросить старика, как он заполучил такую редкую книгу, как «Regnum Congo» Пигафетты. Я все еще находился под впечатлением, произведенным на меня этой книгой, и не решался заговорить о ней, но любопытство пересилило смутный страх, копившийся в душе с тех пор, как я вошел в странное жилище. Я с облегчением отметил, что вопрос не поставил старика в тупик: он отвечал охотно, вдаваясь в подробности.

– Африканская книга, говоришь? Было такое дело, выторговал эту книжонку у капитана Эбенезера Хольта году эдак в шестьдесят восьмом, его еще потом на войне убили.

Упоминание об Эбенезере Хольте сразу меня насторожило. Это имя попадалось мне в ходе моих генеалогических изысканий, но только до Войны за независимость. А вдруг мой хозяин сможет как-то помочь мне в моей работе? Я решил спросить его о Хольте попозже. Старик тем временем продолжал свой рассказ.

– Эбенезер много лет ходил на салемском торговом судне, в каждом порту, бывало, какую-нибудь диковинную штуку ухватит. А книжонку он, похоже, в Лондоне купил, уж больно ему тамошние лавчонки нравились. Вот как-то раз прихожу я к нему в дом – на холме дом стоял, – а я как раз лошадей привел на продажу. Тут-то мне эта книжонка на глаза и попалась, и уж больно картинки там завлекательные были. Тогда я у него книгу и выменял. Чудная она, вот погоди, только очки достану.

Старик порылся в своих лохмотьях и извлек грязные очки – подлинный антиквариат – с маленькими восьмиугольными линзами и стальными дужками. Нацепив их на нос, он потянулся за фолиантом на столе и принялся любовно перелистывать страницы.

– Эбенезер немножко кумекал по латыни, почитывал ее, а я вот не разбираюсь. Здешние учителя – не упомню, два или три их тут было – читали мне понемножку, да еще пастор Кларк. Он, говорят, утоп в пруду. А ты в ней разберешься?

Я ответил, что знаю латынь, и прочел ему вслух первый абзац. Если я и делал ошибки, старик их не замечал и не мог меня поправить, но он радовался, как ребенок, что книга заговорила по-английски. Его близкое соседство было мне крайне неприятно, но я не мог его избежать, не обидев хозяина. Меня забавлял ребяческий восторг старика перед картинками в книге, которую он не мог прочесть. Интересно, насколько легче ему было прочесть несколько английских книг, украшавших комнату? Простодушие старика отмело смутные дурные предчувствия, мучившие меня, а он все болтал и болтал:

– Как этих картинок насмотришься, всякое в голову лезет, чудеса, да и только. Ну, возьми хоть бы эту, в начале. Где ты видывал деревья с такими большущими листьями, чтобы сверху донизу свисали? А люди? Разве это негры? Прямо умора. Индейцы – еще куда ни шло, может, они и в Африке попадаются. А то нарисованы твари вроде мартышек или полумартышки-полулюди. А про таких чудищ я и вовсе не слыхивал. – Старик указал на химеру – что-то вроде дракона с головой крокодила. – А самая что ни на есть занятная вот тут, посерединке...

В голосе старика появилась хрипотца, глаза загорелись. Пальцы слушались его хуже, чем раньше, но все же вполне справлялись со своим делом. Книга раскрылась, будто сама, будто по привычке, на том же месте, на отвратительной двенадцатой гравюре, изображавшей мясную лавку племени каннибалов. Я снова ощутил беспокойство, хоть никак его не выдал. Самым странным казалось то, что художник изобразил африканцев белыми. Отрубленные руки, ноги, четверти тел, висающие на крюках вдоль стен, представляли собой кошмарное зрелище, а мясник с топором был чудовищно неуместен. Но то, что вызывало у меня отвращение, казалось, ласкало взор моего хозяина.

– Ну и что ты об этом думаешь? Поди, не видывал такого, а? А я, как впервой увидел, так Эбу Хольту и сказал: «Вот так штука, глянешь, и кровь в жилах закипает». Мне случалось в Библии читать, как людей на части рубили, ну, вот мидианитян, к примеру, читаешь и думаешь, но картинки-то перед глазами нет. А тут сразу видно, как это делается. Грех, право слово, да разве мы все не родимся и не живем в грехе? А я как гляну на парня, на куски порубленного, веришь, кровь по жилам быстрее бежит. Глаз оторвать не могу. Вон как мясник ему ноги оттяпал. А вон там на лавке голова отрубленная лежит, по одну сторону от нее – рука правая, по другую – левая.

Старик что-то еще бормотал в своем жутком экстазе, и выражение его заросшего седой бородой лица с очками на носу было неопишимо, хрипотца в голосе усилилась. Не берусь описать свои собственные переживания. Дурные предчувствия обернулись сущим кошмаром, объявшим меня с головы до ног. Во мне росла бесконечная ненависть к отвратительному старику, сидевшему возле меня. Не вызывало сомнений, что он либо сумасшедший, либо извращенец. Теперь он говорил почти шепотом, его сладострастная хрипотца была ужаснее крика, от его слов меня кидало в дрожь.

– Да, чудно, картинка вроде, а как за живое берет. Я от нее, веришь ли, глаз оторвать не мог. Выменял ее у Эба и все смотрел, смотрел, особенно по воскресеньям, когда пастор Кларк в своем большущем парике примется, бывало, говорить как по писаному. Раз я попробовал забавную штуку – да ты не пугайся, не пугайся! – просто я глянул на картинку, а потом пошел забивать овец на продажу, и, веришь ли, куда веселей пошла работа!

Голос старика звучал все глуше и глуше, переходя порой в еле различимый шепот. Я слушал шум дождя, дрожание тусклых стекол в маленьких рамах и отметил первые раскаты

приближающейся грозы – явления весьма необычного для поздней осени. Вдруг ударила молния и потрясла ветхий домишко до самого основания, но бормочущий старик, казалось, ее и не заметил.

– Да, забой овец пошел куда веселей, но знаешь, чего-то мне все же доставало. Охота, она, брат, пуще неволи. Так вот, никому, бога ради, не рассказывай, но насмотрелся я на эту картинку, и до того захотелось мне отведать съестного, что за деньги не купишь и сам не вырастишь. Да утомись ты, что дергаешься, заболел, что ли? Ничего я не делал, просто думал да гадал, что бы вышло, доведись мне попробовать такую пищу. Говорят, мясо входит в твою плоть и кровь, новую жизнь дает, вот я и призадумался: жить-то можно дольше, если оно на твою плоть похоже?

Бормочущий старик так и не закончил свою мысль. Причиной тому был не мой испуг, не стремительно нараставшая буря, чей шум и ярость вывели меня потом из забытья среди дымящихся руин. Причиной тому было очень простое, хоть и необычное происшествие.

Между нами лежала открытая книга, и злополучная картинка упорно глядела в потолок. Как только старик произнес слова «на твою плоть похоже», сверху что-то капнуло и расплылось по желтоватой бумаге открытой книги. Я подумал, что крыша протекла от сильного дождя, но дождь не бывает красным. На гравюре, изображавшей мясную лавку племени каннибалов, ярко блестело маленькое красное пятнышко, придававшее особую достоверность кошмарной сцене. Старик заметил пятно и смолк, хоть немой ужас на моем лице сам по себе требовал от него разъяснения. Старик поднял глаза к потолку. Над нами была комната, откуда он вышел час тому назад. Я перехватил его взгляд: по отставшей штукатурке расплывалось большое красное пятно. Я не вскрикнул, не двинулся с места, я просто закрыл глаза. Через мгновение сокрушительный удар молнии поразил проклятый домишко с его ужасными тайнами, и лишь спасительное беспмятство уберегло мой разум.

Гипнос

По поводу сна, этой скверной еженощной авантюры, можно сказать лишь одно: люди, ложась спать, каждый день проявляют смелость, которую трудно объяснить иначе, как непониманием подстерегающей их опасности.

Бодлер

Да хранят меня милостивые боги, если, конечно, они существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни наркотики, это коварное изобретение человека, не могут удержать меня, и я проваливаюсь в бездну сна. Смерть милосерднее: оттуда нет возврата, но тот, кто поднялся с самого дна сонной бездны, осунувшийся и осознавший происшедшее, никогда больше не ведает покоя. Какой я был дурак, что ринулся с непростительным азартом в таинственную область, куда закрыт доступ человеку. А кто был он – дурак или бог, мой единственный друг, который проник туда раньше и ввел меня в искушение? В конце его ждала жестокая расплата, быть может, она ждет и меня!

Вспоминаю, как мы познакомились на железнодорожной станции, где он приковал к себе внимание толпы зевак. Он находился в глубоком обмороке, и это придавало ему, худощавому, облаченному в черный костюм, удивительную строгость. На вид ему было лет сорок: глубокие складки залегли на бледном овальном лице; несмотря на некоторую худобу, в нем все казалось прекрасным, даже легкая проседь в густых выющихся волосах и небольшой бородке, некогда цвета воронова крыла. Лоб был божественной формы и цвета пентелийского мрамора.

Я со всей страстью скульптора представил себе, что это не человек, а скульптура фавна из античной Греции, извлеченная из земли под руинами храма, которую оживили неизвестно каким образом в наш душный век, чтобы он постоянно ощущал пронизывающий холод и разрушительную силу времени. А когда он открыл огромные, горящие лихорадочным блеском глаза, я уже наверняка знал, что отныне он мой единственный друг – единственный друг человека, у которого никогда прежде не было друга. Такие глаза, несомненно, видели величие и кошмары за пределами обычного сознания и реальности. Я сам лишь лелеял мечту постичь запредельное – и напрасно. Разогнав толпу ротозеев, я предложил незнакомцу свое гостеприимство и положение своего учителя и наставника в области непознанного. Он безоговорочно согласился. Потом я обнаружил, что у моего друга мелодичный голос, глубокий, как звуки виолы и кристаллических сфер. Мы часто беседовали – и вечерами, и днем, когда я высекал из мрамора его бюсты и резал миниатюры из слоновой кости, пытаюсь запечатлеть различные выражения его лица.

Я не берусь рассказывать о наших исследованиях: их мало что объединяло с миром, каким его себе представляют люди. Они были связаны с огромной устрашающей Вселенной, с непознанной реальностью, лежащей за пределами материи, пространства и времени. О ее существовании мы лишь догадываемся по некоторым формам сна – тем редким фантазмагорическим видениям, которые никогда не возникают у обычных людей и всего лишь один или два раза – у людей, наделенных творческим воображением. Космос нашего обыденного существования, созданный той же Вселенной, как мыльный пузырь – трубочкой шута, соприкасается с ней не больше, чем мыльный пузырь с насмешником шутком, когда тот втягивает его обратно по своей прихоти. Ученые мало интересуются миром сновидений, в основном они его игнорируют. А когда мудрецы занимались истолкованием снов, боги смеялись. Стоило однажды мудрецу с восточными глазами заявить, что пространство и время относительны, люди засмеялись. Но даже этот мудрец с восточными глазами высказал лишь предположение. Меня это не удовлетворяло, я пытался действовать. Предпринял такую попытку и мой друг, отчасти успешную.

Потом мы соединили наши усилия и, приняв экзотические наркотики, погрузились в ужасные запретные сны в моей студии в башне старинного особняка в древнем Кенте.

Среди прочих душевных терзаний тех дней самой сильной была мука слова. Я никогда не смогу передать в словах то, что видел и узнал, – ни в одном языке нет соответствующих символов и понятий. Я утверждаю это, потому что сначала и до конца наши открытия касались лишь природы чувств, не связанных с впечатлениями, которые воспринимает нервная система обычного человека. Это были чувственные восприятия, но за ними лежали невероятные элементы пространства и времени, не наполненные определенным сущностным содержанием. Человеческий язык в лучшем случае передает общий характер наших опытов, именуя их погружением или воспарением, ведь на любом этапе откровения какая-то часть нашего сознания смело отрывается от реального и осязаемого, летит над страшной темной, исполненной страхов бездной, преодолевая порой преграды – странные вязкие облака.

Эти черные бестелесные полеты мы иногда совершали в одиночку, иногда – вдвоем. Когда мы бывали вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня. Я чувствовал, что он рядом, несмотря на его бестелесность. Зрительная память сохраняла его лицо, золотое в удивительном свете, страшное своей нечеловеческой красотой – горящие глаза, юношеская свежесть, олимпийский лоб и тронутые сединой волосы и борода.

Мы не вели счет времени: оно стало для нас самой незначительной из иллюзий. Должно быть, в этом и заключалось какое-то таинство: мы удивлялись, что совершенно не старимся. Наши беседы были святотатственны и чудовищно амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на открытия и завоевания, которые мы обсуждали шепотом. Меня пронизывает дрожь, стоит мне вспомнить о них, и я не решаюсь пересказывать то, о чем мы с ним говорили. Упомяну лишь случай, когда мой друг написал на листке бумаги желание, не отважившись произнести его вслух, а я сжег этот листок и опасливо посмотрел из окна в усыпанное звездами ночное небо. Позволю себе намек, всего лишь намек: похоже, мой друг мечтал о самовластии во всей видимой Вселенной и даже на этом не останавливался. Ему хотелось, чтобы Земля и звезды перемещались в пространстве согласно его воле и чтобы он решал судьбы всех живущих. Клянусь, я никогда не разделял его необузданных желаний, и, если в разговоре или письме мой друг когда-либо утверждал обратное, это глубокое заблуждение. У меня не хватило бы духу замахнуться на то, что и язык-то не решается выговорить, хоть иные и зарабатывают на этом славу.

Как-то ночью ветры из неведомых далей занесли нас в безграничную пустоту, запредельную и реальности, и мысли. Нас переполняло нечто такое, что не передать в словах, – осознание бесконечности, приводившее нас в безумный восторг. Теперь что-то изгладилось из моей памяти, что-то я не в состоянии объяснить другим. Мы быстро преодолели – одно за другим – густые облака, и наконец я почувствовал, что мы достигли весьма отдаленных сфер, прежде нам недоступных.

Мой друг далеко опередил меня, когда мы погрузились в наводящий благоговейный ужас, неизведанный воздушный океан, и я отметил дикую радость на столь памятном мне светящемся, слишком молодом лице. Вдруг оно будто скрылось в тумане, и одновременно меня метнуло в густое облако, которое я не смог преодолеть. Оно ничем не отличалось от других, но оказалось неизмеримо плотней, какой-то вязкой тягучей массой, если подобные термины допустимы при описании аналогичных свойств нематериальной сферы.

Я чувствовал, что меня удерживает невидимый барьер, который мой друг и наставник успешно преодолел. Моя новая попытка преодолеть барьер закончилась пробуждением от наркотического сна. Я открыл глаза и увидел студию в башне, в противоположном углу которой лежал бледный, все еще отключившийся от всего земного мой товарищ по путешествию. Его мраморное, искаженное непонятной мукой лицо было невыразимо прекрасно в золотом лунном свете.

Вскоре недвижимое тело в углу шевельнулось, и да хранят меня в будущем милостивые боги от того, что мне довелось увидеть и услышать. Я теряю дар речи, вспоминая, как он кричал, какие жуткие видения ада мгновенно отражались в его черных глазах, обезумевших от страха. Добавлю лишь, что я потерял сознание и лежал без чувств. Потом мой друг очнулся и принялся трясти меня: кто-то должен был утешить его в безмерном горе.

Так закончились наши добровольные скитания в дебрях сновидений. Поверженный, потрясенный друг, побывавший за барьером, остерег меня от новых попыток проникнуть в незнаемое. Он даже не решился рассказать мне об увиденном, но, исходя из собственного горького опыта, решил, что спать надо как можно меньше и стоит прибегнуть к наркотикам, если иначе нельзя удержаться ото сна. Я вскоре убедился в его правоте: как только я проваливался в забытие, меня охватывал невыразимый ужас.

Мне казалось, что я старею после каждого вынужденного короткого сна, но мой друг старел еще быстрее. Жутко было наблюдать, как его кожа сморщивается, а волосы седеют прямо на глазах. Наш образ жизни теперь совершенно переменился. Насколько мне известно, друг всегда был отшельником – он так и не открыл мне своего настоящего имени, не сказал, откуда он родом, – а теперь он панически боялся одиночества, особенно вечерами. Компания в несколько человек его не удовлетворяла. Единственной отрадой друга стали многолюдные шумные сборища. Мы появлялись почти везде, где собиралась веселая молодежь.

Наш возраст и внешность почти всегда вызывали насмешки, и меня это глубоко ранило, но мой друг считал, что одиночество – большее зло. Он особенно переживал, когда оставался один под звездным ночным небом. Если ему случалось оказаться вечером вне дома, он боязливо поглядывал на небо, будто его преследовали какие-то небесные монстры. Вряд ли его притягивала какая-то определенная точка в небесном пространстве – скорее разные в разное время. Весенними вечерами его звезда горела низко на северо-востоке. Летом она стояла почти над головой. Осенью он искал ее на северо-западе. Зимой в ранние утренние часы он ждал ее появления на востоке.

Меньше всего он опасался вечеров в середине зимы. Лишь через два года я понял, что его страх связан с какой-то конкретной звездой: он высматривал определенную точку на небосводе и обращал взгляд в ее сторону. Я прикинул, что это одна из звезд созвездия Северная Корона.

В это время мы снимали студию в Лондоне, были, как и прежде, неразлучны, но никогда не заводили разговор о тех днях, когда пытались проникнуть в глубь таинственного нереального мира. Мы постарели и ослабели от наркотиков и нервного перенапряжения. Редеющие волосы и борода моего друга сделались белыми как снег. Мы научились удивительно долго обходиться без сна и крайне редко отводили больше часа или двух на беспмятство, превратившееся для нас в такую страшную угрозу.

И вот настало январское утро, туманное и дож-дливое. Все деньги вышли, и нам не на что было купить наркотики. Я уже распродал все бюсты и миниатюры из слоновой кости, и у меня не было средств на покупку мрамора. Собственно, у меня уже не было сил работать, даже если бы материал был под рукой. Мы оба страдали, и в одну из ночей мой друг погрузился в глубокий сон, и я никак не мог его разбудить. Живо припоминаю сейчас эту сцену. Запущенная мрачная мансарда под самой крышей. Каплет дождь. Тикают настенные часы, тикают ручные часы на туалетном столике. Скрипит незатворенный ставень в задней части дома. Издалека доносится городской шум, приглушенный туманом и расстоянием. Но самое страшное – глубокое мерное дыхание моего друга, ритмичное дыхание, словно отмеряющее моменты сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в запретных сферах, невообразимых и чудовищно удаленных.

Напряженное бдение чрезмерно утомляло меня. Невероятная цепочка впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я слышал бой часов – не наших, наши были без боя, и мрачная фантазия избрала этот бой исходной точкой для бесцель-

ных размышлений: часы – время – пространство – бесконечность. А потом, как я это сейчас себе представляю, я мысленно вернулся к злополучной точке над крышей, за дождем, туманом и атмосферой, к созвездию Северная Корона, которое находилось сейчас на северо-востоке. Северная Корона, наводившая страх на моего друга, сверкающий полукруг звезд, должно быть, горит и сейчас, невидимая глазу в неизмеримом космическом пространстве. Внезапно мой лихорадочно обостренный слух, казалось, уловил новый отчетливый звук в общей какофонии, усиленной наркотиками, – низкий, чертовски навязчивый жалобный вой, протяжный, насмешливый, зовущий. Он доносился издалека – с северо-востока.

Но не отдаленный жалобный вой лишил меня чувств и наложил на душу печать страха, от которой мне не избавиться до конца жизни. Не из-за него я кричал и дергался в конвульсиях, вынудив соседей и полицию взломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел. В темной запертой, наглухо закрытой ставнями и шторами комнате из темного угла на северо-востоке ударил зловещий красно-золотой луч. Он не рассеивал тьму, а лишь струился на откинутую голову сновидца, колдовски явив лицо-двойник, светящееся, необычайно молодое, запечатлевшееся у меня в памяти во время полета в космической бездне. Тогда мы не ощущали пространства и времени, а мой друг, преодолев невидимый барьер, проник в тайну сокровенных, запретных дебрей ночных кошмаров.

Вдруг голова приподнялась, черные влажные глаза в ужасе открылись, бледные губы исказила гримаса подавленного крика. Это искаженное гримасой бестелесное лицо, молодое, светящееся в темноте, вызывало цепенящий смертельный страх, ни с чем не сравнимый ни на небе, ни на земле.

Мы не произнесли ни слова, а между тем жалобный вой приближался, нарастал. Я проследил направление взгляда черных обезумевших глаз, мгновенно увидел в источнике света и звука то, что открылось ему, и забился в припадке эпилепсии, переполошив жильцов и полицейских. Я так и не смог, как ни старался, рассказать, что именно мне довелось увидеть. И на застывшем лице моего друга уже ничего не прочтешь. Он, конечно, видел несравненно больше, чем я, но он никогда не заговорит снова. Но теперь я всегда настороже, потому что боюсь насмешливого ненасытного Гипноса, властителя снов, ночного неба, безумной жажды познания и философии.

Происшедшее так и осталось тайной не только для меня, чей разум повредило нечто таинственное и ужасное, но и для других, у которых эта история непонятно каким образом стерлась из памяти. Возможно, это чистая случайность, а возможно, и безумие. По неизвестной причине все вокруг утверждают, что у меня никогда не было никакого друга, что я заполнил свою трагическую жизнь искусством, философией и безумными фантазиями. В ту памятную ночь соседи и полицейские утешали меня, как могли, а врач дал что-то успокоительное. Никто и не заметил следов ночного кошмара. Мой поверженный друг не вызвал у них жалости – напротив, обнаружив его, неподвижного, на кушетке, они разразились похвалами, вызвавшими у меня лишь тошноту. Я в отчаянии отвергаю свалившуюся на меня славу и часами сижу, одурев от наркотиков, лысый, морщинистый, седобородый старик, жалкий и беспомощный, вознося восторженные молитвы предмету, найденному ими в студии.

Люди утверждают, что я не продал свое последнее творение, и в восторге указывают на того, кто в свете золотого луча навеки охладел, окаменел и умолк. Это все, что осталось от моего друга и наставника, который вел меня к безумию и самоуничтожению. Столь божественную голову из пентелийского мрамора могли изваять лишь в античной Греции – вечно юное прекрасное лицо с бородкой, изогнутые в улыбке губы, олимпийский лоб и корона густых выющихся волос. Говорят, я ваял по памяти себя, двадцатипятилетнего, но в основании бюста начертано греческими буквами лишь одно имя: Гипнос.

Праздник

*Efficiat Daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspicienda
hominibus exhibeant.
Lactantius*

Я оказался далеко от дома, на восточном побережье, и море меня зачаровало. В сумерках слышно было, как оно тяжело бьется о камни, и я знал, что оно скрыто от меня всего лишь одной горой, на которой причудливо извивались и корчились ивы на фоне проясняющегося неба с первыми вечерними звездами. Повинуясь воле моих предков, призвавших меня в расположенный у подножия горы старый город, я шел по одинокой, убранной первым снежком дороге туда, где Альдебаран сверкал между деревьями над самым древним городом, которого я еще ни разу не видел, но о котором часто мечтал.

Был канун праздника Юлтайд, и, хотя теперь его называют Рождеством, все в глубине души знают, что он старше Вифлеема и Вавилона, старше Мемфиса и вообще человечества. Приближался Юлтайд, и я наконец-то приехал в старый приморский город, в котором мои предки жили и праздновали запрещенный праздник, наказав своим сыновьям праздновать его раз в сто лет, чтобы не угасла память об их тайных знаниях. История моей семьи началась давно, гораздо раньше, чем те триста лет, когда была заселена здешняя земля. Да и странными были мои предки. Диковатые и малоразговорчивые, они явились из тихих южных садов, в которых росли орхидеи, и говорили на другом языке, прежде чем выучились языку голубоглазых рыбаков. Теперь мои родичи рассеяны, и их объединяют лишь таинственные обряды, которых они не понимают. Я единственный, исполняя завет, приехал в тот вечер в старый рыбацкий город, ибо помнят только бедные и одинокие.

В наступивших сумерках я увидел раскинувшийся у подножия горы зимний Кингспорт – заснеженный город с древними флюгерами и шпилями, с островерхими крышами и колпаками дымовых труб, с пристанями и мостами, с ивовыми деревьями и кладбищами, с нескончаемым лабиринтом крутых узких улочек и увенчанной церковью головокружительной горой посередине, на которую время не посмело посягнуть, с бесчисленными стоящими на разных уровнях и под разными углами, словно разбросанные детские кубики, домами в колониальном стиле. Над посеребренными зимой двускатными крышами парила на седых крыльях древность. Окошки над дверьми и небольшие окна на фасадах домов высвечивали в морозных сумерках цепочку до Ориона и других таких же исстари известных звезд. А там, где гнили пристани, тяжело билось о камни море, невидимое и вечное море, из которого в незапамятные времена вышли люди.

Возле дороги, где она круто шла вверх, неожиданно выросла куда более высокая гора – совершенно голая и даже не припорошенная снегом, и я увидел кладбище с черными надгробиями, вылезавшими, как привидения, из белого покрывала и похожими на гниющие ногти гигантского трупа. На дороге я не заметил никаких следов и не встретил ни одного человека, но иногда мне казалось, будто я слышу в порывах ветра далекий скрип виселицы. В 1692 году здесь казнили за колдовство четверых моих предков, но я не знаю, где именно.

Когда дорога вывела меня на склон горы, смотрящий на море, я ожидал услышать веселый вечерний гомон, но кругом царил безмолвие. Я подумал, что у здешних пуритан могут быть собственные рождественские обычаи и не исключено, что они теперь погружены в тихие молитвы. Итак, не слыша никаких доказательств предрождественского веселья и не видя ни одного человека, я продолжал путь мимо домов, из которых не доносилось ни звука, но в которых горел свет, мимо кирпичных оград, туда, где на безлюдных и немощеных улицах, скудно

освещенных занавешенными окнами, поскрипывали на соленом морском ветру вывески старинных лавок и кабаков и поблескивали смешные дверные молотки.

Я видел карты города и знал, как выйти к дому моих предков. Мне говорили, что меня узнают и приветят, ведь деревенские обычаи долговечнее городских, и я торопливо шагал по Бэк-стрит к Серкл-корт, а потом по свежему нетронутому снежку на единственной уложенной камнем площади к Грин-лейн, где она сворачивает за рынок. Старые карты меня не подвели, хотя с троллейбусной линией в Аркхеме что-то напутали, потому что я не заметил над головой никаких проводов. Впрочем, снег все равно запорошил бы рельсы. Я был рад, что пошел пешком, потому что сверху заснеженный город выглядел удивительно красиво, а теперь мне еще не терпелось постучать в построенный до 1650 года дом моих предков со старинной двускатной крышей и выступающим верхним этажом – седьмой дом слева по Грин-лейн.

Когда я приблизился к нему, в ромбовидных окнах горел свет, и по их очертаниям я понял, что дом остался в точности таким, каким был в прежние времена. Верхний этаж нависал над узкой, поросшей травой улицей, почти соприкасаясь с верхним этажом дома напротив, так что я оказался почти что в туннеле, когда остановился возле каменного крылечка, на которое не падал снег. Тротуаров тут не было, и к входным дверям многих домов вели высокие, в два пролета лестницы с железными перилами. Для меня это было странное зрелище. Прежде я не бывал в Новой Англии и ничего подобного никогда не видел, но мне понравилось, и понравилось бы еще больше, если бы на снегу были следы, по улицам ходили люди и хоть на нескольких окнах не были опущены занавески.

Когда я стукнул в дверь старинным железным молотком, то почувствовал страх. Наверное, он уже копился во мне из-за непонятного моего наследства, из-за холодного вечера и из-за тишины в этом древнем городке со странными обычаями. Когда же на мой стук ответили, я совсем перепугался, потому что не слышал шагов перед тем, как дверь со скрипом отворилась. Но страх скоро прошел, такое у стоявшего в дверях старика в халате и шлепанцах было милое лицо. Показав мне знаком, что он немой, старик написал забавное старинное «добро пожаловать» на восковой дощечке, которую не забыл с собой прихватить.

Он провел меня в освещенную свечами комнату с низким потолком и массивными нависающими балками, уставленную темной мебелью семнадцатого столетия. Прошлое здесь было как живое, во всех своих подробностях. Я увидел пещерообразную печь и прялку, возле которой спиной ко мне сидела, согнувшись, старуха в огромной шали и чепце мешком и молча работала, несмотря на приближающийся праздник. В комнате почти неуловимо пахло сыростью, и я удивился, почему никому не приходит в голову разжечь огонь. Мне показалось, что кто-то сидит на скамье с высокой спинкой, поставленной слева против занавешенных окошек, хотя я не был в этом уверен. Увиденное мне не очень понравилось, и я вновь ощутил исчезнувший было страх, причем страх становился тем сильнее, чем дольше я всматривался в благостное лицо старика, поначалу успокоившее меня, а теперь ужасавшее своей благостью. Застывшие в неподвижности глаза и восковая кожа навели меня на мысль, что это и не лицо вовсе, а дьявольская маска. Тем временем слабые ручки, почему-то в перчатках, в самых милых выражениях писали на дощечке просьбу немного подождать, потому что пока еще не время идти на праздник.

Показав мне на кресло и на кучу книг, старик ушел, а я сел к столу, решив и вправду почитать, и увидел, что все книги старые и порченные временем. Среди них были давнее издание «Чудес науки» старика Морристера, чудовищный том «*Saducismus Triumphatus*» Джозефа Гланвиля, напечатанный в 1681 году, ужасная «*Daemonolatreia*» Ремигия, увидевшая свет в 1595 году в Лионе, и, самое страшное, никогда не упоминаемый «*Necronomicon*» безумного араба Абдула Альхазреда в запрещенном переводе на латынь Оляуса Вормия. Эту книгу я никогда в глаза не видел, но о ней шепотом рассказывали самые отвратительные вещи. Никто со мной не заговаривал, и я слышал только какой-то скрип с улицы и жужжание колеса, потому

что молчавшая старуха в колпаке ни на мгновение не прерывала своей работы. И комната, и книги, и люди внушали мне болезненное беспокойство, однако легенды моих предков более или менее подготовили меня к необычным празднествам, поэтому я решил ждать. Итак, я взялся за чтение «Necronomicon» и скоро был совершенно поглощен проклятой книгой, мысль и содержание которой были слишком отвратительны для здравомыслящего человека и мне не нравились, как вдруг мне показалось, будто закрыли одно окно напротив скамьи, тайком распахнутое незадолго до этого. Но прежде я услышал жужжание, однако не жужжание старухиной прялки. Это продолжалось недолго. Старуха все так же, не отрываясь, пряла, старинные часы громко отбивали время, и я, забыв о людях на скамье, вновь погрузился в страшное чтение, как вдруг в комнату вошел старик в свободном старинном одеянии и уселся на скамье так, что я не мог его видеть. Ожидание становилось все более неприятным, и богохульная книга у меня в руках лишь усиливала мое волнение. Но вот пробило одиннадцать часов. Старик встал, скользнул к стоявшему в уголке массивному резному сундуку и достал из него два плаща с капюшонами. Один он надел сам, а другой накинул на старуху, покончившую наконец со своей бесконечной пряжей. Оба направились к входной двери. Старуха еле плелась да еще хромала, а старик, подхватив ту самую книгу, которую я читал, кивнул мне, натягивая капюшон на свое неподвижное лицо или маску.

Мы вышли в не освещенный луной лабиринт старинных улочек, как раз когда один за другим гасли огни за занавешенными окнами и Сириус – Песья Звезда – злобно глядел на толпу закутанных в плащи людей, появляющихся из дверей и образующих чудовищные процессии. Они заполнили все улицы и медленно двигались мимо скрипящих вывесок и допотопных фронтонов, мимо соломенных крыш и ромбовидных окон, разделяясь на отдельные ручейки, когда попадали в узкие проходы между домами, и снова соединяясь в поток, заполняющий все пространство под нависающими верхними этажами ветхих домов и скользящий по площадям и церковным дворам в неверном свете фонарей, напоминавших жутковато-пьяные созвездия.

Я следовал в молчаливой толпе за моими немymi проводниками. Меня пихали локтями, которые казались мне непонятно мягкими, прижимали к ненормально податливым животам и грудям, но я не видел ни одного лица и не слышал ни одного слова. Вверх, вверх, вверх тянулись жутковатые колонны, и я заметил, что они сходятся в одной точке, сводя вместе все обезумевшие улицы на вершине самого высокого холма в центре города, где стояла большая белая церковь. Я обратил на нее внимание, когда в нарождающихся сумерках смотрел с горы на Кингспорт и содрогался, потому что Альдебаран, как мне показалось, несколько мгновений балансировал на вершине призрачного шпиля.

Возле церкви было много свободного пространства, половину которого занимал церковный двор с призрачными колоннами, а половину – мощеная площадь, порывами ветра почти полностью очищенная от снега и ограниченная угрюмой чередой старых домов с двускатными крышами и нависающими верхними этажами. Над могилами плясали огни смерти, освещая отвратительную перспективу, в которой не было места теням. Из той части церковного двора, где дома не загораживали обзор, я увидел сверкание звезд над портом, хотя сам город был погружен во тьму. Правда, время от времени на какой-нибудь улочке зажигался фонарь и извилистым путем спешил к толпе, безмолвно исчезавшей в церкви. Я ждал, пока все скроются в черном проеме, включая опоздавших. Старик тянул меня за рукав, но я решил быть последним. Переступая порог переполненного храма, перед тем как оказаться в пугающе-неведомой тьме, я оглянулся на оставляемый мною мир, и в эту минуту фосфоресцирующий нездоровый свет с церковного двора осветил всю вершину. Я содрогнулся. Хотя сильный ветер смел почти весь снег, все же его немного осталось возле двери, но когда я посмотрел назад, то не увидел на нем ни одного следа, даже моих следов не было.

Внутри церковь была почти погружена во мрак, несмотря на зажженные фонари, ибо большая часть толпы, бесшумно пройдя между высокими скамьями, уже исчезла в люке, кото-

рый отвратительно разинул пасть перед самой кафедрой проповедника. Я молча шел следом за всеми к стертым ступеням темного душного склепа. Извилистая очередь ночных ходоков была ужасна, но, когда я увидел, как они друг за другом исчезают в старинном склепе, она показалась мне еще ужаснее. Потом я обратил внимание, что лестница круто идет вниз, а мгновением позже сам вместе со всеми шагнул по зловещим ступеням из шершавого камня в сырость и непонятную вонь, и узкая винтовая лестница бесконечно вилась в глубь холма, оставляя позади мокрый камень и осыпавшийся известняк. Спуск происходил в пугающей тишине, а немного погодя я заметил, что стены и лестница вроде бы стали другими, словно вырубленными в каменной глыбе. Но больше всего меня пугали бесшумные шаги множества ног и отсутствие даже самого тихого эха. Оказавшись еще ниже, я увидел боковые проходы или норы, которые выходили в нашу таинственную шахту из неведомой тьмы. Скоро их стало очень много, и подземные катакомбы начали вызывать у меня ощущение непонятной угрозы, тем более что едкий гнилой запах сделался почти непереносимым. Я понимал, что мы идем под горой и под Кингспортом, и содрогался от ужаса, осознавая, насколько город стар и сколько зла скопилось под ним.

Неожиданно появился слабый неверный свет, и я услышал коварный плеск не знающих солнца вод. Меня вновь охватила дрожь, ибо мне не нравилось все происходившее, и я горько пожалел о том, что мои предки позаботились известить меня о своем празднике. Когда лестница и шахта несколько расширились, я услышал новый звук, тоненький жалобный стон флейты, и передо мной раскинулся беспредельный простор подземного мира – необъятный ноздреватый берег, освещенный столпом бледно-зеленого пламени и омываемый широкой маслянистой рекой, которая поднималась из неведомой бездны, чтобы влиться в черные воды вечного океана.

Задыхаясь и почти теряя сознание, я смотрел на этот нечестивый Эреб гигантских поганок, лепрозоидный огонь и болотистый поток и видел, как люди в капюшонах встают полукругом возле огненной колонны. Вот он, Юлтайд, который старше человека и переживет человека, доисторический обряд, посвященный солнцестоянию и весне, побеждающей снег, обряд огня и вечной зелени, света и музыки. Он совершался в адском подземелье на моих глазах. Пришедшие кланялись большому пламени и бросали в воду горсти клейкого сока растений, сверкающего зеленью на зеленом свете. Я это видел и видел, как нечто бесформенное, расположившееся в отдалении, беззвучно дует в рожок, но, когда оно дуло в него, мне казалось, я слышу приглушенное губительное хлопанье невидимых крыльев во враждебной мне и непроницаемой тьме. Но больше всего меня испугал выбрасываемый из немыслимых глубин, словно из жерла вулкана, огненный столб без тени, какая полагается здоровому пламени, покрывающий отвратительной ядовитой прозеленью азотистый камень. От этого огня не исходило тепло, наоборот, в нем был холод смерти и тления.

Старик, который привел меня, теперь стоял возле самого огненного столба и, повернувшись лицом к толпе, неуклюже изображал ритуальное действо. В определенные моменты все низко ему кланялись, особенно когда он поднимал над головой отвратительный «Necropomicon», и я тоже кланялся вместе со всеми, потому что меня призвали сюда мои предки. Потом старик подал знак едва заметному в темноте музыканту, и он сменил свое почти неслышное гудение на другое, тоже почти неслышное, но в ином ключе, отчего я неожиданно ощутил еще больший ужас и низко наклонился к покрытой лишаями земле, потеряв голову от страха, но не перед этим миром и не перед каким-либо другим, а перед безумными пространствами между звездами.

Из немыслимой тьмы позади гангренозного ледяного пламени, из адских бездн, по которым шел путь маслянистой реки, нежданно и неслышно явилась пляшущая орда покорных дрессированных гибридных существ с крыльями, каких никогда не видел и даже не мог бы вообразить ни один нормальный человек. Это не были ни вороны, ни кроты, ни канюки, ни

муравьи, ни любительницы крови – летучие мыши, ни изуродованные люди. Я не могу вспомнить, да и зачем? Хромая, шлепали они на перепончатых лапах, помогая себе такими же перепончатыми крыльями, и едва приблизились к празднующей толпе, как существа в плащах с капюшонами стали хватать их и громоздиться на них, и один за другим они скакали прочь по берегу неосвященной реки, исчезая в ужасных ямах и штольнях, где ядовитые ручьи вскармливали страшные запретные потоки.

Старуха, которая пряла в доме, исчезла вместе с толпой, а старик остался, но только потому, что я отказался последовать за всеми, когда он показал мне на одно из крылатых существ. У меня подогнулись колени, стоило мне заметить, что музыкант исчез, зато рядом терпеливо ждут два зверя. Я отпрянул, и старик, достав стило и восковую дощечку, написал, что он представляет моих предков, которые в этих древних местах учредили культ Юла, что мне было назначено возвратиться сюда и что тайные обряды еще впереди. Все это он написал старинным письмом, а так как я еще медлил, то он достал из складок своего широкого одеяния перстень с печаткой и часы – и то и другое с фамильным гербом, – желая убедить меня в том, что он в самом деле тот, за кого себя выдает. Лучше бы он этого не делал, ибо известные мне семейные документы сообщали о часах, положенных в могилу моего прапрапрадедушки в 1698 году.

Тогда старик откинул капюшон и показал мне на фамильные черты своего лица, отчего я задрожал еще сильнее, так как не сомневался, что вижу дьявольскую восковую маску. Крылатые звери принялись нетерпеливо возить лапами по лишайнику, и, насколько я заметил, старик тоже стал проявлять нешуточное беспокойство. Когда же один из зверей двинулся было прочь, старик стремительно обернулся и схватил его, но с того, что было его лицом, слетела маска. И тогда, так как это чудовище из ночного кошмара загораживало каменную лестницу, по которой мы спустились в подземелье, я бросился в маслянистую адскую реку, которая, бурля, вливалась в море. Я бросился в гнилое варево подземных кошмаров прежде, чем мои истошные крики привлекли ко мне внимание скрытых в чумных водах черных легионов.

В больнице мне рассказали, что меня случайно заметили на рассвете в порту Кингспорта – полузамерзшего, но из последних сил цеплявшегося за доску, посланную мне счастливым случаем. Еще мне рассказали, что на развилке я свернул не в ту сторону и свалился с утеса в Орандж-Пойнт, о чем им стало известно из моих следов на снегу. Я не мог спорить, потому что утром все было не таким, как вечером. Все было не таким. В огромные окна я видел море крыш, и лишь одна из пяти сохранилась от прежних времен, а с улицы доносился шум троллейбусов и машин. Они утверждали, что я в Кингспорте, и я не мог им ничего возразить. Но когда, услышав, что больница расположена возле старой церкви на Центральном холме, я потерял сознание, меня перевезли в Аркхем в больницу Святой Марии, где мне могли обеспечить лучший уход. Здесь мне понравилось, потому что врачи оказались людьми терпимыми и с широкими взглядами и даже достали для меня из библиотеки Мискатоникского университета строго хранимую там книгу «Necronomicon» Абдула Альхазреда. Правда, они говорили об «остром психозе» и советовали мне выбросить из головы все беспокойные мысли.

Итак, я прочитал страшную главу, вдвойне содрогаясь, потому что не узнал из нее ничего нового. Я сам все видел, что бы ни говорили следы на снегу, но совсем забыл, где видел. И не было никого в часы моего бодрствования, кто бы мог напомнить мне, где я это видел, однако над моими снами властвует страх из-за слов, которые я не смею повторить. Тем не менее я стараюсь быть храбрым и процитирую здесь один-единственный параграф, в меру моих способностей переведенный мною на английский язык с весьма странной вульгарной латыни.

«Подземные каверны, – пишет сумасшедший араб, – существуют не для любопытных глаз, ибо их чудеса ужасны. Проклята та земля, на которой мертвые мысли живут в новых воплощениях, и порочен тот разум, что не имеет головы. Мудро сказал Ибн Скакабао, что счастлива та могила, в которой не лежит колдун, и счастлив тот ночной город, в котором все

колдуны обращены в прах. В старину говорили, что душа, купленная дьяволом, не спешит из кладбищенской глины, но кормит и учит *червя, который ест*, пока из гнили не появится ужасный росток жизни, пока бездумные мусорщики не навожат его искусно, чтобы рассердить, и не раздуют, чтобы раздражить. Огромные норы роют втайне там, где нужно быть земным порам и где научаются ходить те, кто должен ползать».

Модель Пикмана

Не посчитай, что я спятил, Элиот, на свете встречаются люди и не с такими причудами. Вот дедушка Оливера никогда не ездит в автомобилях – что б тебе и над ним не посмеяться? Ну не по душе мне треклятая подземка, так это мое личное дело, к тому же мы гораздо быстрее добрались на такси. А иначе вышли бы на Парк-стрит и потом тащились пешком в гору.

Согласен, при нашей встрече в прошлом году я не был таким дерганым, но нервы – это одно, а душевная болезнь – совсем другое. Видит бог, причин было более чем достаточно, и если я сохранил здравый рассудок, то мне, можно сказать, повезло. Да что ты, в самом деле, пристал как с ножом к горлу? Прежде ты не был таким любопытным.

Ну ладно, если тебе так приспичило, слушай. Наверное, ты имеешь право знать, ты ведь писал мне, беспокоился, прямо как отец родной, когда я перестал посещать клуб любителей живописи и порвал с Пикманом. Теперь, после того как он исчез, я порой бываю в клубе, но нервы у меня уже не те.

Нет, я понятия не имею, что случилось с Пикманом, не хочу даже и гадать. Тебе, наверное, приходило в голову, что я прекратил с ним общаться неспроста, мне кое-что о нем известно. Именно поэтому мне не хочется даже задумываться о том, куда он подевался. Пусть выясняет полиция в меру своих возможностей, да только что они могут – они не знают даже про дом в Норт-Энде, который он снял под фамилией Питерс. Не уверен, что и сам найду его снова, да и не стану пытаться, даже при дневном свете! Зачем этот дом ему понадобился, мне известно – вернее, боюсь, что известно. Об этом речь впереди. И, думаю, еще до окончания рассказа ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Они захотят, чтобы я их туда отвел, но даже если бы я вспомнил дорогу, у меня не пойдут ноги. Там было такое... отчего я теперь не спускаюсь ни в метро, ни в подвалы – так что смейся, если тебе угодно.

Ты, конечно, знал еще тогда, что я порвал с Пикманом совсем не из-за тех глупостей, которые ему ставили в вину эти вздорные ханжи вроде доктора Рейда, Джо Майнота или Босуорта. Меня ничуть не шокирует мрачное искусство; если у человека есть дар, как у Пикмана, то, какого бы направления в искусстве он ни придерживался, я горжусь знакомством с ним. В Бостоне не было живописца лучше, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это с самого начала, повторяю и теперь; я не колебался и в тот раз, когда он выставил эту самую «Трапезу гуля». Тогда, если помнишь, от него отвернулся Майнот.

Чтобы творить на уровне Пикмана, требуются большое мастерство и глубокое понимание Природы. Какой-нибудь малеватель журнальных обложек наляпает там-сям ярких красок и назовет это кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но только большой художник сумеет сделать такую картину на самом деле страшной и убедительной. Ибо лишь истинному художнику известна настоящая анатомия ужасного, физиология страха: с помощью каких линий и пропорций затронуть наши подспудные инстинкты, наследственную память о страхе; к каким обратиться цветовым контрастам и световым эффектам, дабы воспрянуло ото сна наше ощущение потусторонней угрозы. Излишне тебе рассказывать, почему картины Фюсли действительно вызывают трепет, а глядя на обложку дешевой книжки-страшилки, захочешь разве что посмеяться. Подобные люди умеют уловить нечто эдакое... нездешнее и дать и нам на миг это почувствовать. Этим умением владел Доре. Им сейчас владеет Сайм. Ангарола из Чикаго. Пикман владел им как никто другой до него и – дай бог – никто не будет владеть после.

Что они такое видят – не спрашивай. Знаешь, в обычном искусстве существует принципиальное различие между живыми, дышащими картинами, написанными с натуры или с модели, и убогими поделками, которые всякая мелюзга корысти ради штампует по стандарту в пустой студии. А вот подлинный мастер фантастической живописи, скажу я тебе, обладает неким видением, способностью создать в уме модель или сцену из призрачного мира, где он

обитает. Так или иначе, картины Пикмана отличались от сладеньких придумок иных шарлатанов приблизительно так же, как творения художников, пишущих с натуры, от стряпни карикатуриста-заочника. Видеть бы мне то, что видел Пикман... но нет! Прежде чем вникнуть глубже, давай-ка опрокинем по стаканчику. Бог мой, да меня бы уже не было на этом свете, если бы я видел то же, что этот человек – вот только человек ли он?

Как ты помнишь, сильной стороной Пикмана было изображение лиц. Со времен Гойи он был единственный, кто умел создавать такие дьявольские физиономии и гримасы. Из предшественников Гойи этим мастерством владели средневековые искусники, создавшие горгулий и химер для собора Нотр-Дам и аббатства Мон-Сен-Мишель. Они верили во всякую всячину, а быть может, и *видели* эту всякую всячину: в истории Средневековья бывали очень странные периоды. Помню, как ты сам за год до своего отъезда спросил однажды Пикмана, откуда, черт возьми, он заимствует подобные идеи и образы. И разве не гнусный смешок ты услышал в ответ? Отчасти из-за этого смеха с Пикманом порвал Рейд. Он, как тебе известно, занялся недавно сравнительной патологией и теперь, кичась своей осведомленностью, рассуждает о том, что значат с точки зрения биологии и теории эволюции те или иные психологические и физические симптомы. Рейд говорил, что Пикман с каждым днем все больше отвращал его, а под конец чуть ли не пугал, что в его внешности и повадках появилось что-то мерзкое, нечеловеческое. Он много разглагольствовал о питании и сделал вывод, что Пикман наверняка завел себе необычные, в высшей степени извращенные привычки. Догадываюсь: если вы с Рейдом упоминали Пикмана в своей переписке, ты наверняка предположил, что Рейд просто насмотрелся картин Пикмана и у него разыгралось воображение. Я и сам как-то раз ему это сказал... в ту пору.

Но имей в виду, что я не порвал бы с Пикманом из-за его картин. Напротив, я все больше им восхищался: «Трапеза гуля» – это настоящий шедевр. Ты знаешь, конечно, что клуб отказался ее выставить, а Музей изящных искусств не принял в дар. Могу добавить: картину к тому же никто не купил, и она оставалась у Пикмана вплоть до того дня, когда он исчез. Теперь она у его отца в Салеме: тебе ведь известно, что Пикман происходит из старинного салемского рода; в 1692 году одна из его представительниц была повешена как ведьма.

Я частенько заглядывал к Пикману, особенно когда стал собирать материал для монографии о фантастическом жанре в искусстве. Скорее всего, именно эта картина навела меня на мысль к нему обратиться. Так или иначе, оказалось, что он просто кладезь сведений и идей. Пикман познакомил меня со всеми, что у него имелись, картинами и рисунками в этом жанре, и, ей-богу, если бы о них стало известно в клубе, его бы в два счета оттуда выкинули. Очень скоро он убедил меня и увлек; часами, как школьник, я выслушивал его дикие суждения об искусстве и философские теории, с какими прямая дорога в Данверский сумасшедший дом. Я смотрел на него как на идола, тогда как другие все больше его сторонились, и потому он стал мне доверять; однажды вечером он намекнул, что, если я пообещаю помалкивать и держать себя в руках, он покажет мне что-то необычное – такого я у него в доме еще не видел.

«Знаешь, – сказал он, – иные замыслы на Ньюбери-стрит непредставимы, да они здесь и не смогут возникнуть. Моя задача – ловить обертоны души, а откуда им взяться на ненатуральных улицах, в искусственном окружении? Бэк-Бэй – это не Бостон, Бэк-Бэй – это пока ничто, он слишком недавний, чтобы пропитаться воспоминаниями и обзавестись местными духами. Если здесь и водятся призраки, то это ручные духи приморских низин и мелководных бухточек, а мне нужны человеческие призраки – призраки существ высокоорганизованных, видевших геенну огненную и осознавших, что им открылось.

Художнику место в Норт-Энде. Эстету, если он истинный эстет, следует переехать в трущобы, где сохраняется множество традиций. Бог мой! Неужто не понятно, что такие места не были построены, а *выросли* сами по себе? Там жили, чувствовали, умирали поколение за поколением – в те времена, когда люди не боялись жить, чувствовать и умирать. Тебе известно,

что в 1632 году на Коппис-Хилле находилась мельница и что добрая половина нынешних улиц была заложена в 1650 году? Я покажу тебе дома, которые простояли два с половиной века и больше, дома, повидавшие такое, от чего современный дом рассыпался бы в пыль. Что им, современным, известно о жизни и о силах, что за нею стоят? Ты говоришь, будто салемиские ведьмы выдумка, но не сомневаюсь, моя прапрапрабабушка рассказала бы тебе много интересного. Ее вздернули на Висельном холме, под взглядом этого ханжи, Коттона Мэзера. Чего больше всего боялся треклятый Мэзер, так это как бы кто-нибудь не выбрался за окаймленные рамки обыденности. Жаль, никто его не околдовал и не высосал ночью всю кровь!

Могу показать тебе его дом, и также другой, куда он боялся ступить, несмотря на все свои грозные речи. Ему было известно куда больше, чем он осмелился пересказать в своей дурацкой «Магналии» или наивных «Чудесах незримого мира». Слушай, а знаешь ли ты, что некогда под Норт-Эндром имелась сеть туннелей, соединявших разные дома и дававших тайный доступ на кладбище или к морю? Пусть на земле нас преследуют и гонят, под землю преследователям не проникнуть, откуда доносится ночами смех – не догадаться!

Из каждого десятка домов, что уцелели и стоят на своем месте с 1700 года, в восьми я берусь показать тебе в подполе кое-что интересное. Что ни месяц, читаешь в прессе: среди старых построек рабочие нашли то заделанную кирпичами арку, то колодец, ведущие неизвестно куда. Один такой дом, у Хенчман-стрит, был еще в прошлом году хорошо виден с эстакады надземки. Здесь прятались ведьмы, пираты, контрабандисты с добром, добытым при помощи колдовства и разбоя; говорю тебе, в старое время люди умели жить, умели раздвигать предписанные им границы. Людям было мало одного-единственного мира, умные и смелые шли дальше! А что сегодня? Сплошное размягчение мозгов: члены клуба, по идее знатоки, до дрожи пугаются, когда им показываешь картину, не отвечающую вкусам завсегдатаев чайных салонов на Бикон-стрит!

Единственное, чем хороши наши времена, – так это тем, что народ нынче слишком тупой, чтобы дотошно изучать прошлое. Что рассказывают о Норт-Энде карты, записи, путеводители? Тьфу! Да я не глядя берусь показать тебе три-четыре десятка переулков и кварталов к северу от Принс-стрит, не известных почти никому, кроме иностранцев, которых там видимо-невидимо. А всякие там итальяшки и прочие, разве они понимают, с чем имеют дело? Нет, Тербер, эти старинные местечки дремлют себе на роскошном ложе тайн, ужасов и необычных возможностей, и не найдется ни единой живой души, способной их понять и ими воспользоваться. То есть одна живая душа все же есть: в прошлом копаюсь я, и не первый день!

Слушай, ты же всем таким интересуешься. А если я скажу тебе, что завел там себе вторую студию, где охочусь за ночными призраками старинных страхов, где изображаю сюжеты, о которых на Ньюбери-стрит не решаюсь и думать? Разумеется, этих чертовых истеричек из клуба я не ставил в известность, в том числе и Рейда, чтоб он провалился. Придумал, тоже мне: я, мол, в своем роде чудовище, эволюционирую в обратную сторону. Да, Тербер, я давно уже понял: ужас так же заслуживает быть запечатленным в картинах, как и красота. Поэтому я взялся за розыски в тех местах, где, как я небезосновательно полагаю, обитает ужас.

Я нашел там местечко; из нынешних представителей нордической расы о нем, кроме меня, почти никто не знает. Если мерить расстояние, это в двух шагах от эстакады, но что касается истории человеческого духа, эти точки разделяют века и века. Мой выбор решило то, что в подвале имеется старый кирпичный колодец – из тех, о которых я говорил. Развалюха едва держится, так что других жильцов там не появится, а какие гроши я за нее плачу, стыдно и признаться. Окна заколочены, но тем лучше: для того, что я делаю, дневной свет нежелателен. Пишу я в подвале, где самая вдохновляющая атмосфера, но в моем распоряжении еще несколько меблированных комнат на первом этаже. Хозяин – один сицилиец, я назвался ему Питерсом.

Ну, если ты решился, отправляемся сегодня же вечером. Думаю, картины тебе понравятся: как уже было сказано, я дал себе волю, когда писал. Путь недалекий, иногда я даже добираюсь пешком; взять такси в такой район – значит привлечь к себе внимание. Можно доехать поездом от Саут-Стейшн до Бэттери-стрит, а там два шага пешком».

Что ж, Элиот, после этой речи мне ничего не оставалось, как только сделать над собой усилие, чтобы не бегом, а обычным шагом отправиться за первым, какой попадется, свободным кебом. На Саут-Стейшн мы сели в надземку и около полуночи, спустившись по ступеням на Бэттери-стрит, двинулись вдоль старой береговой линии мимо причала Конститушн. Я не следил за дорогой и не вспомню, в который мы свернули переулок, знаю только, что это был не Гриноу-лейн.

Наконец повернув, мы двинулись в горку по пустому переулку, старинней и обшарпанней которого я в жизни не видел; с фронтонов осыпалась краска, окна в частом переплете были побиты, остатки древних каминных труб сиротливо вырисовывались на фоне освещенного лунной небосклона. Все дома, за исключением разве что двух-трех, стояли здесь еще со времен Коттона Мазера. Два раза мне попадались на глаза навесы, а однажды – островерхий силуэт крыши, какие были до мансардных, хотя местные знатоки древностей утверждают, будто таких в Бостоне не сохранилось.

Из этого переулочка, освещенного тусклым фонарем, мы свернули в другой, где было так же тихо, дома стояли еще теснее, а фонарей не было вовсе. Через минуту-другую мы обогнули в темноте тупой угол дома по правую руку. Вскоре Пикман вынул электрический фонарик и осветил допотопную десятифиленчатую дверь, судя по всему, безнадежно источенную червями. Отперев ее, он провел меня в пустой коридор, отделанный роскошными некогда панелями из темного дуба – без особой, разумеется, затейливости в рисунке, но явственно напоминавшими о временах Эндроза, Фиппса и ведовства. Потом Пикман провел меня в комнату налево, зажег масляную лампу и предложил располагаться как дома.

Имей в виду, Элиот, я человек, что называется, искушенный, но, оглядев стены, признаюсь, оторопел. Там были картины Пикмана – те, которые на Ньюбери-стрит не только не напишешь, но даже не покажешь, и он был прав в том, что «дал себе волю». Ну-ка еще по стаканчику – мне, во всяком случае, позарез нужно выпить!

Не стану и пытаться описать тебе эти картины: от одного взгляда на них становилось дурно. Это был такой смердящий, кошмарный ужас, что язык тут бессилен. Ты не обнаружил бы в них ни причудливой техники, как у Сидни Сайма, ни устрашающих трансатлантических пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита. Задний план обычно составляли старые кладбища, лесные дебри, береговые утесы, кирпичные туннели, старинные комнаты, отделанные темным деревом, или просто каменные своды. Любимым местом действия было кладбище Коппс-Хилл, которое располагалось поблизости, в двух-трех кварталах.

Фигуры на переднем плане воплощали в себе безумие и уродство: Пикману особенно удавались мрачные, демонические портреты. Среди его персонажей было мало полноценных людей, их принадлежность к роду человеческому ограничивалась теми или иными отдельными чертами. Стояли они на двух ногах, но клонились вперед и слегка напоминали собак. Отталкивающего вида кожа походила во многих случаях на резину. Ну и мерзость! До сих пор они стоят у меня перед глазами! За какими занятиями они были изображены, в подробностях не спрашивай. Обычно кормились, но чем – не скажу. Временами они были показаны группами на кладбище или в катакомбах, нередко – дерущимися из-за добычи, а вернее, из-за нахлебков. И какую же дьявольскую выразительность Пикман умудрялся придать незрячим лицам их жертв! Его персонажи запрыгивали иной раз по ночам в открытые окна, сидели, скорчившись, на груди у спящих, тянулись к их шеем. На одной картине, изображавшей Висельный холм, они окружали кольцом казненную ведьму, в лице которой прослеживалось явственное с ними сходство.

Но только не подумай, будто мне сделалось дурно от жутких сюжетов и антуража. Мне не три года, я всякого навидался. Дело в их лицах, Элиот, в их треклятых лицах, что буквально жили на картине, бросая злобные взгляды и пуская слюни! Бог мой, они вправду казались живыми! Адское пламя, зажженное красками, бушевало на полотнах мерзкого колдуна; кисть его, обращенная в магический жезл, рождала на свет кошмары. Дай-ка, Элиот, мне графин!

Одна из картин называлась «Урок» – лучше бы мне никогда ее не видеть! Слушай... можешь вообразить кружок невиданных тварей, похожих на собак, что, сидя на корточках, учат малое дитя кормиться так же, как они? Наверное, это подмененный ребенок: помнишь старые рассказы о том, как таинственный народец крадет человеческих детей, оставляя взамен в колыбелях собственное отродье? Пикман показал, что случается с украденными детьми, как они вырастают, и после этого я начал замечать зловещее сходство в лицах людей и нелюдей. Показывая разные степени вырождения, от легких его признаков до откровенной потери человекоподобия, он глумливо протягивал между ними нить эволюции. Собаководные твари произошли от людей!

Я еще не успел задуматься о том, как бы он изобразил собственное отродье этих тварей, навязанных людям подменышей, как мой взгляд уперся в картину, отвечавшую на этот вопрос. На ней было старинное пуританское жилище: мощные потолочные балки, окно с решетками, скамья со спинкой, громоздкая мебель семнадцатого века; семья сидела кружком, отец читал из Библии. Все лица выражали почтительное достоинство, лишь одно кривилось в дьявольской усмешке. Оно принадлежало человеку молодому, но уже не юноше, который явно находился здесь на правах сына набожного главы семейства, но на самом деле происходил от нечистого племени. Это был подменыш, и Пикман, в духе высшей иронии, придал ему заметное сходство с собой самим.

Пикман успел зажечь лампу в соседней комнате, открыл дверь и, любезно ее придерживая, спросил, хочу ли я взглянуть на его «современные этюды». От страха и отвращения мне отказал язык, и я ничего из себя не смог выдать, но Пикман, похоже, понял меня и остался очень доволен. Заверяю тебя еще раз, Элиот: я вовсе не мимоза и не шарахаюсь от всего, что хоть чуточку расходится с привычными вкусами. Я не юноша и достаточно искушен; думаю, ты, зная меня по Франции, понимаешь, что такого человека не так-то легко выбить из колеи. Помни также, что я уже пришел в себя и кое-как притерпелся к ужасным холстам, на которых Новая Англия была представлена как какой-то придаток преисподней. Так вот, несмотря на это, в соседней комнате я невольно вскрикнул и схватился за дверь, чтобы не упасть. В первой комнате толпы гулей и ведьм переполняли мир наших предков, в этой же они вторгались в нашу повседневную жизнь!

Боже, что это была за живопись! Один этюд назывался «Происшествие в метро», там стоя этих мерзких тварей выбиралась из неизвестных катакомб через трещину в полу станции подземки «Бойлстон-стрит» и нападала на людей на платформе. Другой изображал танцы среди надгробий на Коппс-Хилл, фон был современный. На нескольких дело происходило в подвалах; монстры протискивались через дыры и проломы в каменной кладке, сидели на корточках за бочками и печами и, злобно сверкая глазами, поджидали, пока спустится по лестнице первая жертва.

На одном полотне, самого отталкивающего вида, было представлено поперечное сечение холма Бикон-Хилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных: в неведомом сводчатом помещении несколько десятков тварей теснились вокруг одной, которая, держа в руках популярный путеводитель по Бостону, очевидно, что-то зачитывала из него вслух. Все указывали на один из ходов, морды были перекошены в пароксизме безудержного, оглушительного хохота

– я почти что слышал его адское эхо. Название картины гласило: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн».

Постепенно успокаиваясь и принаравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов и рожденных больно́й фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют о полном бессердечии их творца, о воображении, не обузданном никакими человеческими чувствами. Так упиваться муками разума и плоти, деградацией смертной оболочки человека мог только закоренелый враг рода людского. Во-вторых, картины вселяли тем больший ужас именно вследствие мастерского исполнения. Это искусство было на редкость убедительным – глядя на картину, ты видел подлинных демонов и трепетал перед ними. Странно было то, что Пикман словно бы ни о чем не умалчивал и ничто не искажал. В рисунке не было ничего расплывчатого, условного: четкий контур, жизнеподобие, педантично-подробная прорисовка. А лица!

Ты видел их не через призму восприятия художника – это был пандемониум как он есть, изображенный кристально ясно и объективно. Богом клянусь, это чистая правда! В Пикмане не было ничего от фантазера, сочинителя, он даже не пытался воплотить на полотне мимолетные образы сна – нет, он холодно и насмешливо фиксировал некий прочно устоявшийся механистический мир ужасов, который был открыт ему полностью, с ясностью, не допускавшей иных толкований. Одному Создателю известно, что это был за мир и где являлись Пикману богохульственные образы, передвигавшиеся по нему шагом, рысью или ползком, но, гадая о том, откуда они взялись, в одном можно было не сомневаться: во всех аспектах своего искусства – и в замысле, и в исполнении – Пикман был полным и добросовестным реалистом, опиравшимся едва ли не на научное знание.

Хозяин повел меня теперь в подвал, где, собственно, располагалась его студия, и я готовил себя к тому, чтобы обнаружить на его неоконченных полотнах новые дьявольские сюрпризы. Когда мы добрались до подножия осклизлой лестницы, Пикман осветил фонариком угол обширного пространства и луч уперся в круглое кирпичное сооружение – очевидно, большой колодец в земляном полу. Мы приблизились, и я разглядел, что он достигает в поперечнике футов пяти, стенки, толщиной в добрый фут, поднимаются над грунтом дюймов на шесть и сделан колодец весьма основательно – работа семнадцатого века, если не ошибаюсь. Пикман пояснил, что это как раз то, о чем он рассказывал: вход в сеть туннелей, которые в былые годы пронизывали холм. Я заметил между прочим, что колодец не заложен кирпичом, а прикрыт тяжелой деревянной крышкой. При мысли о том, что, если намеки Пикмана не были празднословием, через колодец можно попасть в места самые разные, меня пробрала легкая дрожь. Затем мы повернули, поднялись на одну ступеньку и, войдя в узкую дверь, оказались в довольно большой комнате с дощатым полом, оборудованной под студию. Ацетиленовая горелка давала достаточно света, чтобы можно было работать.

Неоконченные картины на мольбертах или у стен производили такое же отталкивающее впечатление, что и оконченные, которые я осмотрел наверху, и были так же тщательно выписаны. Наброски были подготовлены с большим старанием, карандашные линии свидетельствовали о том, что Пикман заботился о правильной перспективе и пропорциях. Он был великий художник – говорю это даже сейчас, когда мне многое стало известно. Я обратил внимание на большую фотокамеру на столе, и Пикман объяснил, что фотографирует сцены, которые собирается использовать как фон, чтобы рисовать их в студии с фотографий, а не выезжать со всеми принадлежностями на этюды. Пикман считал, что фотографии с успехом заменяют натуру или живую модель, и, по его словам, постоянно их использовал.

Мне было очень тревожно в окружении тошнотворных эскизов, наполовину законченных монстров, злобно паливших из всех углов, и, когда Пикман внезапно сдернул чехол с громадного полотна, которое стояло в тени, я – второй раз за вечер – не удержался от крика. По темным сводам старинного душного подземелья побежало многократное эхо, и я едва не

откликнулся на него истерическим хохотом. Боже милостивый, Элиот, я не знал, где здесь правда, а где болезненное воображение. Казалось, никто из обитателей нашей планеты не мог бы измыслить ничего подобного.

Это было нечто колоссальных размеров и кошунственного облика, с горящими красными глазами; оно держало в костистых лапах другое нечто, прежде бывшее человеком, и глодало его голову, как ребенок грызет леденец. Наклонная поза чудовища наводила на мысль, что оно вот-вот уронит свою добычу, чтобы устремиться за более сочным куском. Но, черт возьми, неудержимый, панический страх нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тело с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием копыт – хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме.

Дело было в живописи, Элиот, проклятой, нечестивой, противоестественной живописи! Богом клянусь, в жизни не видел такой живой картины, она буквально дышала. Чудовище сверкало глазами и вгрызалось в добычу, и я понимал: пока действуют законы природы, никто не способен создать подобную картину без модели; художник должен был хотя бы мельком заглянуть в нижний мир, куда имеет доступ лишь тот из смертных, кто продал душу дьяволу.

К свободному участку полотна был приколот кнопкой скрученный листок, и я предположил, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон, столь же кошмарный, что и передний план. Я потянулся к листку, чтобы расправить и рассмотреть, но тут Пикман вздрогнул, словно его подстрелили. С того мгновения, когда мой испуганный крик пробудил в темном подземелье непривычное эхо, Пикман не переставал напряженно прислушиваться, теперь же он явно испугался, хотя не так, как я: причина страха была реальная. Он вытащил револьвер, сделал мне знак молчать, шагнул в основное подвальное помещение и закрыл за собой дверь.

Похоже, меня на мгновение просто парализовало. Вслед за Пикманом я прислушался: откуда-то донесся вроде бы слабый топот, откуда-то еще – взвизги и жалобный вой. Подумав о гигантских крысах, я содрогнулся. Потом послышался приглушенный стук, от которого у меня по коже побежали мурашки. Он был какой-то неуверенный, вороватый – не спрашивай, что это значит, я не могу объяснить. Словно тяжелый деревянный предмет бился о камень или кирпич. Дерево о кирпич – понимаешь, что это мне напомнило?

Те же звуки, теперь громче. Перестук, словно деревяшка отлетела в сторону. Резкий скрежет, бессвязный выкрик Пикмана, шесть оглушительных выстрелов – так стреляет в воздух, ради пушного эффекта, цирковой укротитель. Приглушенный вой или визг, удар. Снова стук дерева о кирпич. Наступила тишина, и дверь открылась. Признаюсь, я дернулся так, что едва устоял на ногах. Вошел Пикман с дымящимся револьвером, кляня на чем свет зажавшихся крыс, что шныряют в старинном колодце.

«Черт разберет, Тербер, где они находят корм, – ухмыльнулся он. – Эти древние туннели сообщаются с кладбищем, логовом ведьм и морским побережьем. Как бы то ни было, они оголодали: им до чертиков хотелось выбраться наружу. Наверно, их потревожил твой крик. В этих старинных домах все бы хорошо, если б не соседство грызунов, хотя временами мне думается, для атмосферы и колорита они не лишние».

Ну вот, Элиот, на том и завершилось наше ночное приключение. Пикман обещал показать мне дом и, видит небо, выполнил это обещание сполна. Обрато он повел меня через лабиринт переулков, вроде бы в другую сторону: первый фонарь я увидел на полужнакомой улице с однообразными рядами современных многоквартирных строений и старых домов. Это была Чартер-стрит, но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Хановер-стрит. Этот путь

мне запомнился. Мы шли по Тримонт, потом по Бикон; на углу Джой я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.

Почему я с ним порвал? Не торопи события. Погоди, я позвоню, чтобы принесли кофе. Мы уже изрядно нагрузились другим напитком, но что касается меня, мне это было необходимо. Нет, дело не в картинах, которые я видел в студии, хотя из-за них Пикмана подвергли бы остракизму чуть ли не во всех домах и клубах Бостона; и, думаю, тебя больше не удивляет, что я избегаю метро и всяческих подвалов. Виною разрыва был один предмет, который я на следующее утро обнаружил у себя в кармане куртки. Ты ведь помнишь: к жуткому полотну в подполе был приклеен свернутый листок, и я подумал, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон для своего чудовища. Когда произошел переполох, я как раз разворачивал бумажку и, наверное, машинально затолкал ее себе в карман. Ага, вот и кофе. Лучше черный, Элиот, сливками только испортишь.

Да, именно из-за этой бумажки я порвал с Пикманом – Ричардом Аптоном Пикманом, величайшим художником из всех, кого я знаю, и самым отвратительным ублюдком из всех, кто когда-либо перешагивал границы бытия, чтобы погрузиться в пучину бреда и безумия. Старина Рейд был прав, Элиот. Пикман был не вполне человеком. Он либо рожден под сенью тайны, либо нашел ключик к запретным вратам. Но это теперь не важно, он исчез – возвратился в мифическую мглу, где так любил блуждать. Да, распоряжусь-ка я, чтобы зажгли свет.

Только не спрашивай меня о сожженной бумаге; я не собираюсь делиться ни объяснениями, ни даже догадками. Не спрашивай и о том, что там была за возня в подполе, которую Пикман так старался приписать крысам. Знаешь, со старых салемских времен в мире уцелели некоторые тайны, а в рассказах Коттона Мазера встречаются и не такие чудеса. Тебе ведь известно, каким поразительным правдоподобием отличались картины Пикмана и как мы все гадали, откуда он взял эти лица.

Так вот, насчет листка: выяснилось, что никакая это не фотография фона. Все, что там было, – это чудовищная тварь, которую Пикман изображал на полотне. Это была его модель, а фоном служили стены подземной студии, видные во всех подробностях. Но, боже мой, Элиот, *это была фотография с натуры.*

Таинственный дом в туманном поднебесье

Каждое утро на скалистый берег в Кингспорте выплывает из моря туман. Белый, пушистый, он поднимается из глубины, грезя о сырых пастбищах и пещерах Левиафана, к своим братьям-облакам. А потом в тихих летних дождях, падающих на крутые крыши, под которыми живут поэты, облака проговариваются об этих грезах, потому что людям худо жить без преданий о тайнах и чудесах, которыми по ночам обмениваются звезды. Когда сказкам становится тесно в гротах тритонов и раковины в приморских городах вспоминают давно забытые напевы, тогда собираются на небесах нетерпеливые туманы, и если подняться на скалу и посмотреть на море, то видна лишь одна таинственная белизна, словно скала стоит на краю земли, и тогда торжественные колокола бакенов начинают всюду звонить в волшебном эфире.

В северной части старого Кингспорта скалы причудливо вздымаются ввысь, оставляя позади одну террасу за другой, пока самый северный уступ не повисает в небе, подобно серому застывшему облаку. В безграничном пространстве он – одинокое блеклое пятно, потому что берег крут там, где впадает в море, издавек неся свои воды и минуя Аркхем, великий Мискатоник, переполненный легендами лесов и не забывший еще о горах Новой Англии. Жители Кингспорта глядят на уступ, как жители в других местах глядят на Полярную звезду, и сверяют часы по тому, когда он прячет или открывает Большую Медведицу, Кассиопею и Дракона. Среди них есть еще одна звезда, правда есть, но ее тоже не видно, когда туман прячет звезды и солнце.

К некоторым скалам жители приморья питают особую нежность, как, например, к той, которую за утрированный силуэт называют Батюшкой Нептуном, или к той, которую за то, что она похожа на лестницу с колоннами, называют Дорогой, но ее они боятся, потому что она поднялась слишком высоко в небо. Португальские моряки, когда заходят в порт, осеняют себя крестом, едва завидя ее, а старые янки верят, будто лезть на нее страшнее смерти, даже если кому-то такое под силу. Тем не менее на этой скале стоит древний домишко, и полуночники могут видеть свет в его окошках.

Этот домишко там с незапамятных времен, и говорят, будто живет в нем тот, кто разговаривает с поднимающимися из глубины утренними туманами, и, возможно, он видит в океане то, что никто не видит, когда скала становится краем земли и торжественные бакены всюду звонят в белом волшебном поднебесье. Так говорят люди, которые никогда не поднимаются на запретную скалу и даже не любят наводить на нее телескопы. Летние визитеры старательно обследовали ее с помощью своих всевидящих биноклей, но рассмотрели лишь старую серую крышу, островерхую и крытую дранкой, спускающуюся чуть ли не до серого фундамента, да загорающийся в сумерках мутный желтый свет в окошках под нею. Эти летние визитеры не верят, что один и тот же Некто уже много столетий живет в древнем домишке, однако коренные жители Кингспорта не обращают внимания на их ереси. Даже Страшный Старик, который разговаривает с серыми маятниками в бутылках, золотыми испанскими монетами столетней давности расплачивается за овощи в лавке и держит каменных идолов во дворе своего допотопного домишка на Водной улице, и тот говорит, что ничего не изменилось с того времени, когда его дед был мальчишкой, или с тех более давних времен, когда губернатором королевской провинции Массачусетс были Белчер, Ширли, Паунелл или Бернارد.

В одно прекрасное лето в Кингспорт приехал философ. Звали его Томас Олни, и учил он всяким скучным вещам в колледже в Наррангассетт-Бей. Приехал он в Кингспорт с толстой женой и шkodливыми отпрысками, и в глазах у него была тоска, ибо он много лет видел одно и то же и думал одно и то же.

Он поглядел на диадему из туманов на голове Батюшки Нептуна и отправился по гигантским ступеням Дороги в таинственный белый мир. День за днем он лежал на скалах и с края

земли вглядывался в загадочное поднебесье, вслушиваясь в призрачные колокола и отчаянные крики, по-видимому чаек. Потом, когда туман уходил ввысь и показывалось скучное море с дымом пароходов, он вздыхал и спускался в город, где ему нравилось бродить по узким крутым улочкам и изучать безумную пляску покосившихся крыш и ни на что не похожие двери, за которыми прожило жизнь не одно поколение крепких морских людей. Он даже познакомился с не любившим приезжих Страшным Стариком и был приглашен в его пугающе ветхий дом, низкие потолки и изъеденные жучками перекрытия которого эхом откликались на бурные монологи в темные полночные часы.

Естественно, Олни не мог не обратить внимания на серый одинокий дом, в который никто не входил и из которого никто не выходил, на вершине мрачной северной скалы, где не было ничего, кроме туманов и неба. Скала испокон века нависала над Кингспортом, и не было времени, когда о ее тайнах не шептались в кривых улочках Кингспорта. Сиплым голосом Страшный Старик рассказал Олни историю, которую когда-то ему рассказал отец, о молнии, однажды ночью вылетевшей из дома на скале и взмывшей в облака поднебесья, а бабушка Орна, чей домишко на Корабельной улице весь покрыт мхом и плющом, прокаркала ему, что ее бабушка слыхала от кого-то, будто из восточных туманов не то живые существа, не то тени ныряют в единственную узкую дверь недоступного жилища, ибо дверь расположена на ближней к океану стороне и видна лишь тем, кто вышел на корабле в открытое море.

В конце концов жадный ко всему новому и непонятному и не удерживаемый ни страхом коренных кингспортцев, ни ленью летних визитеров, Олни принял ужасное решение. Несмотря на консервативное воспитание, а может быть, благодаря ему, ибо от скучной жизни люди начинают тосковать и мечтать о необыкновенном, Олни поклялся страшной клятвой взойти на одинокую северную скалу и побывать в необыкновенно старом сером домишке, вознесшемся в небеса. Вполне возможно, его здравый смысл подсказывал ему, что дом должен быть обитаем, а если так, то люди, которые в нем живут, наверняка поднимаются вверх более легкой дорогой, которая должна идти вдоль реки Мискатоник. Не исключено, что они работают в Аркхеме, потому что знают, как не любят их обиталище в Кингспорте, или потому что не имеют возможности спуститься вниз с этой стороны. Олни начал свой поход с менее высоких скал, имея целью великана, нагло взмывшего вверх из желания поспорить с небесами и совершенно уверенного, что ни одному человеку не одолеть нависший над городом южный склон. С востока и севера скала на тысячи футов поднималась над морем отвесной стеной, так что оставался только западный склон со стороны Аркхема.

Ранним августовским утром Олни вышел из дома с целью отыскать дорогу на неприступную вершину и двинулся на северо-запад по живописной тропинке мимо Хуперова пруда и старой мельницы и дальше вверх к пастбищам над Мискатоником, с которых открывался чарующий вид на другой берег реки, где Аркхем притягивал взгляд своими белыми колокольнями в георгианском стиле. Здесь Олни нашел давно заброшенную дорогу в Аркхем, однако хоть какую-нибудь дорогу на побережье, как ни искал, отыскать не смог. Леса и луга покрывали высокие берега в устье реки, и ничто не говорило о присутствии человека, не видно было ни одного каменного дома, ни одной заблудившейся коровы – лишь высокая трава повсюду, да гигантские деревья, да заросли эрики, которые наверняка видел и первый пришедший сюда индеец. Медленно поднимаясь вверх с восточной стороны и оставляя слева устье реки на своем пути к морю, Олни замечал, что шагать становилось все труднее, пока не задумался о том, как жители этого малопривлекательного места общаются с внешним миром и часто ли позволяют себе выбираться на рынок в Аркхем.

Потом деревья расступились, и далеко внизу с правой стороны Олни увидел древние крыши и шпили Кингспорта. Даже Центральный холм казался с такой высоты карликом, и Олни разглядел лишь старое кладбище возле церковной больницы, под которым, по слухам, скрывались какие-то страшные пещеры или норы. Перед ним была лишь нетронутая трава и

видимо-невидимо черники, а еще дальше – голый камень и узкий выступ со страшным серым обиталищем. Чем выше он поднимался, тем уже становилась скала и тем головокружительнее было его одиночество в поднебесье. На южной стороне далеко внизу лежал Кингспорт, на северной – на дне крутого обрыва, примерно в миле, было устье реки. Внезапно перед Олни разверзлась пропасть футов в десять, так что ему пришлось сначала повиснуть на руках, потом прыгать вниз, а потом карабкаться вверх, цепляясь за каждый мало-мальски подходящий выступ. Вот, значит, как путешествуют между небом и землей обитатели дома, наводящего на всех ужас!

Когда Олни выбрался из расщелины, предутренний туман уже сгустился, однако он еще ясно видел в вышине негостеприимный дом с серыми под стать скале стенами и сам утес, дерзко выставивший себя на фоне молочно-белых морских испарений. Тут он заметил, что с его стороны в доме нет двери, а есть только пара круглых решетчатых окошек с грязноватыми стеклами по моде семнадцатого века.

И больше ничего, кроме неба и белых облаков, закрывших от Олни землю. Он остался наедине со странным, непонятным домом. Опасливо обойдя его кругом, Олни обнаружил, что передняя стена дома находится на самой кромке скалы, так что до единственной узкой двери добраться можно только по воздуху, и тут его охватил страх, который никак нельзя было объяснить высотой. Поразило его то, что совершенно изъеденное червями дерево не рассыпалось в прах, а ни на что не похожие кирпичи сохраняли положенную для трубы форму.

Прижимаясь к стене, Олни подошел в густеющем тумане сначала к окнам на северной стороне, потом на западной и наконец на южной, но все они оказались запертыми. Однако он даже обрадовался этому, потому что чем дальше он смотрел на дом, тем меньше ему хотелось попасть внутрь. Вдруг его остановил какой-то шум. Он услышал, как кто-то прогрохотал замком и проскрежетал засовом, а потом заскрипела, словно ее открывали медленно и с опаской, дверь. Все это происходило на стороне, обращенной к морю, которую Олни не мог видеть и на которой единственная узкая дверь выходила в туманное поднебесье на высоте нескольких тысяч футов над морем.

Потом раздались тяжелые шаги в доме, и Олни услышал, как открываются окна сначала на северной – противоположной от него – стороне, а после на западной, за углом. Следующей должна была наступить очередь окон с южной стороны, где он стоял под низко нависшей крышей, и, нужно сказать, ему стало не по себе при мысли о страшном доме с одной стороны и туманным простором – с другой. Когда шаги приблизились, он скользнул за угол на западную сторону и прижался к стене возле уже открытых окон.

Олни понял, что возвратился хозяин дома, однако он никак не мог явиться со стороны суши, но и воздушного корабля или воздушного шара тоже нигде не было видно. Вновь послышались шаги, и Олни метнулся на северную сторону, но не успел найти для себя убежище, как его тихо окликнули, и он понял, что должен предстать перед хозяином дома.

Из окошка на западной стороне высунулась голова с черной бородой и глазами, в которых запечатлелись и сверкали невиданные картины мира. Однако голос был ласковый и звучал не по-сегодняшнему, так что Олни даже не вздрогнул, когда коричневая рука потянулась ему на помощь. Он перелез через подоконник и оказался в комнате с низким потолком, обитыми черными дубовыми панелями стенами и резной мебелью времен Тюдоров. На мужчине были старинные одежды, и весь он был как будто в сиянии, сотканном из морских сказок и грез высоких галеонов. Потом Олни много чего не мог припомнить из поведенных ему чудес, да и о самом хозяине дома он ничего не узнал, но говорил, будто бы он ни на кого не похож и добрый, а еще будто бы он переполнен волшебством бесконечного времени и безграничного пространства. Маленькая комната казалась зеленой в сумеречном свете, и еще Олни заметил, что окна на восточной стене не только не были открыты, а даже, наоборот, были заперты, и

толстые мутные стекла, похожие на донышки старых бутылок, не пускали внутрь туманный воздух.

Бородатый хозяин хоть и казался с виду молодым, но его глаза светились печалью многих давних тайн, а его рассказы о великолепной старине подтверждали, что местные жители, едва они здесь появились и обратили внимание на странный дом в вышине, были правы, когда думали, будто он накоротке с морскими туманами и небесными облаками. День шел своим чередом, а Олни все внимал рассказам о прежних временах и дальних странах. Он узнал, как короли Атлантиды сражались с осклизлыми тварями, выползавшими из щелей в морском дне, и как одиноким кораблям является ночью весь покрытый водорослями дворец Посейдона с колоннами, увидав который моряки смиряются с неизбежным. Они вспомнили о времени Титанов, однако хозяин несколько оробел, едва заговорил о смутном первоначальном хаосе еще до рождения богов, даже Старших богов, когда *другие боги* приходили плясать на утес Хатег-Кла в каменной пустыне близ Ултара, что за рекой Скай.

И в эту минуту раздался стук в дверь, в ту самую утыканную гвоздями старинную дубовую дверь, за которой не было ничего, кроме белого тумана. Олни от страха вскочил, но бородатый хозяин махнул ему рукой, приказывая сидеть тихо, а сам на цыпочках подкрался к двери и поглядел в крохотную дырочку. То, что он увидел, ему не понравилось, и, прижав палец к губам, он все так же на цыпочках отправился закрывать и запирать окна, прежде чем воротиться и вновь сесть на старинную скамью рядом с гостем. Олни заметил, как во всех окнах по очереди промелькнула черная тень, словно незваный визитер проверял перед уходом, нет ли где щели, и обрадовался, что хозяин не отозвался на стук. В беспредельном пространстве водятся разные существа, и искатель грез должен быть осторожен, чтобы не потревожить, себе на беду, недобрые силы.

В это время начали собираться тени: первыми появились маленькие пугливые – под столом, за ними в темных углах – те, что похрабрее. Бородатый хозяин, сделав нескольких загадочных молитвенных жестов, зажег свечи в причудливо изогнутых медных подсвечниках. То и дело он поглядывал на дверь, словно ждал кого-то, и в конце концов был вознагражден легким стуком, по-видимому сказавшим ему нечто очень старым и тайным кодом. На сей раз он даже не стал смотреть в дырку, а сразу снял засов и распахнул тяжелую дубовую дверь навстречу звездам и туману.

В комнату под звуки непонятной мелодии вплыли мечты и воспоминания утонувших богатырей земли. Золотые языки пламени сверкали в их кудрях-водорослях, и Олни не мог скрыть своего удивления, когда приветствовал их. Здесь же был Нептун с трезубцем в окружении юрких тритонов и фантастических нереид, а на спинах дельфинов в большой зубчатой раковине явился седой и страшный Ноденс – властелин великой бездны. Тритоны в своих раковинах издали непонятные звуки, и нереиды ударили в раковины неведомых существ, обитающих в черных морских пещерах, после чего седой Ноденс протянул высохшую руку и пригласил Олни и его хозяина в просторную раковину, где тотчас ракушки и гонги заиграли громкую приветственную музыку. Чудесная повозка умчалась вон из дома на беспредельный простор, но шум, поднятый ею, потерялся в раскатах грома.

В Кингспорте всю ночь не сводили глаз с высокой скалы, которую почти не было видно из-за бури и туманов, а когда ближе к рассвету потемнели мутные окошки, люди зашептались о кошмарах и несчастьях. Дети Олни и его толстая жена молились доброму и правильному баптистскому богу в надежде, что путешественник сумеет одолжить у кого-нибудь зонтик и галоши, если дождь утром не прекратится.

Потом выплыла из моря мокрая заря в венке из туманов, и бакены торжественно загудели в белом просторе. А в полдень протрубил над морем волшебный рог, когда совсем не промокший Олни начал легко спускаться со скалы по направлению к старому Кингспорту и в глазах у него сверкали видения дальних стран. Он не мог вспомнить, о чем грезил в хижине

посреди неба, принадлежащей безымянному отшельнику, и не знал, как спустился со скалы, недоступной другим путешественникам. Да и говорить о своем пребывании наверху он мог разве лишь со Страшным Стариком, который потом долго и удивленно бурчал что-то в длинную седую бороду, клянясь всеми богами подряд, что человек, сошедший со скалы, не совсем тот самый, что на нее поднялся, мол, то ли под островерхой крышей дома, то ли среди немыслимых просторов зловещего белого тумана осталась тихо пребывать потерянная душа того, кто был Томасом Олни.

С тех пор прошло еще много тоскливых лет, когда, одолеваемый скукой и усталостью, философ работал, ел, спал и исправно, не жалуясь, исполнял свой долг. Больше он не стремился к волшебным далеким горам и не вздыхал о тайнах, которые, как зеленые рифы, выглядывают из бездонного моря. Он не печалился оттого, что дни похожи один на другой, а послушные его воле мысли вытеснили фантастические видения. Его добрая жена стала еще толще, дети выросли, поскучнели и стали подавать большие надежды, а сам он не упускает случая правильно и горделиво улыбнуться, когда того требуют обстоятельства. В глазах Олни не светится беспокойный огонек, и если ему случается услышать торжественные колокола или волшебный рог, то такое случается лишь ночью, когда оживают старые мечты. Он больше ни разу не приезжал в Кингспорт, потому что его жене и детям не понравились старые смешные дома, а еще больше не понравилась вода. Олни купил щеголеватый дом в Бристольских горах, где нет скал и в соседях у него цивилизованные горожане.

А в Кингспорте не стихают разговоры, и даже Страшный Старик теперь вынужден признать то, о чем ему не рассказывал его дедушка. Ибо теперь, когда неистовый ветер летит с севера мимо старого дома, который неотделим от неба и тумана, уже и в помине нет той тяжелой зловещей тишины, которая была проклятием тружеников моря. Старики рассказывают о приятных напевах и веселом смехе, звенящем недостижимой для земли радостью, и об окошках, что светятся по ночам куда ярче, чем прежде. Еще они рассказывают о том, что лютая северная Аврора теперь стала являться чаще, и она сверкает голубыми видениями застывших миров, в то время как скала и дом чернеют на фоне ее безудержных блистаний. Туманы по утрам тоже стали гуще, и моряки не всегда в силах отличить звон бакенов от других морских звонов.

Но хуже всего то, что страх покидает сердца кингспортских юношей, которые уже не боятся слушать по ночам завывания далекого северного ветра. Они заявляют, будто нет ничего страшного в доме на скале, ибо в новых голосах бьется радость и эхо доносит до них иногда смех и музыку. Не зная, какими сказками населяют туманы свой любимый северный дом, они страстно мечтают хотя бы краем глаза взглянуть на чудеса, которые стучатся в распаивающуюся перед ними дверь, когда все вокруг укрыто особенно непроницаемой пеленой. Вот и боятся старики, как бы когда-нибудь они и впрямь не забрались один за другим на неприступную скалу и не узнали вековые тайны, хранящиеся под островерхой, покрытой дранкой крышей, которая неотделима от скал, и от звезд, и от древних страхов Кингспорта. В том, что отважные юноши вернутся, старики не сомневаются, но им страшно, как бы свет не ушел из их глаз и воля не покинула их сердца, ведь они не желают своему старому Кингспорту с его верткими улочками и старинными крышами сонно тащиться сквозь годы, когда, голос к голосу, громче и неистовее становится смеющийся хор в непонятном и страшном пристанище, где туманы и грезы туманов делают передышку на пути от моря к небу.

Они не желают, чтобы души кингспортских юношей забывали милый домашний очаг и старые таверны с островерхими крышами, а смех и песни в поднебесном доме становились громче. Каждый новый голос приносит с собой свежий туман из моря и огонь с севера, поэтому, как они говорят, чем больше голосов, тем больше туманов и огней, а там, не исключено, старые боги (которых они поминают намеками и шепотом из страха перед пастором конгрегационной церкви) явятся из глубин и из неведомого Кадата в ледяной пустыне и поселятся на облюбованной ими во зло скале вблизи милых холмов и долин, где живут простые тихие рыбаки.

Они этого не желают, потому что обыкновенным людям не нужно того, что не из земли, да и Страшный Старик часто вспоминает, как Олни рассказывал о стуке в дверь, которого испугался одинокий хозяин дома, и о черной тени, заглядывавшей в чудные круглые окошки.

Но все это под силу разрешить лишь Старшим богам, а пока морской туман так же поднимается к вершине взмывшей в небо скалы, где стоит мрачный, с низкими карнизами дом, в котором никого не видать, но в котором вечерами горит свет в окнах, пока северный ветер рассказывает о странном тамошнем веселье. Белый, пушистый, он поднимается из глубины к своим братьям-облакам, грезящим о сырых пастбищах и пещерах Левиафана. Если сказок становится слишком много, тритоны в своих гротах и раковины в водорослевых городах трубят буйные песни, известные со времен Тех, Что Были Прежде, и тогда пары, нагруженные преданиями старины, во множестве поднимаются к небесам, а Кингспорт, беспокойно притаившийся на скалах пониже страшного каменного стража, видит лишь таинственную белую пелену над морем, словно край скалы на самом деле край земли, и слышит, как торжественные колокола бакенов всюду звонят в волшебном эфире.

Грезы в ведьмовском доме

Уолтер Джилмен не мог сказать, являлись ли его сны следствием болезни или ее причиной. Все происходившее с ним таило в себе нечто ужасное, порочное, наполнявшее душу гнетущим страхом, который исходил, казалось, от каждого камня старинного города, и более всего – от ветхих стен мансарды древнего дома, что издавна прослыл в округе нечистым: здесь, в убогой комнатке, проводил Джилмен свои дни: писал, читал, бился с длинными рядами цифр и формул, а по ночам – метался в беспокойном сне на обшарпанной железной кровати. В последнее время слух его обострился до необычайной степени, и это причиняло невыносимые страдания – даже каминные часы пришлось остановить: маятник гремел, как артиллерийская батарея. По ночам едва различимые голоса далеких улиц, злобещая возня крыс за изъеденными червями стенами и скрип рассыхающихся балок где-то наверху сливались в один грохочущий ад. Темнота всегда приносила с собой множество звуков – Джилмен почти свыкся с ними, но все же вздрагивал от ужаса при мысли о том, что однажды привычный шум может стихнуть, уступая место иным звукам, которые – подозревал он – до времени таятся в обычном грохоте.

Джилмен поселился в древнем Аркхеме, где, казалось, остановилось время и люди живут одними легендами. Здесь повсюду в немом соперничестве вздымаются к небу островерхие крыши; под ними, на пыльных чердаках, в колониальные времена скрывались от преследований Королевской стражи аркхемские ведьмы. Но не было в жуткой истории города места, с которым связывалось бы больше страшных воспоминаний, чем с той самой комнатой в мансарде, что послужила приютом Уолтеру Джилмену; именно эта самая комната в этом самом доме приняла когда-то в свои стены старую Кецию Мейсон, ту, чей побег из Салемской тюрьмы так и остался загадкой для всех. Это последнее происшествие имело место в 1692 году. Тюремный надзиратель в ту ночь сошел с ума и с тех пор непрерывно бормотал нечто нечленораздельное о каком-то косматом животном с белыми клыками, якобы выбежавшем из камеры, где содержалась Кеция. На стенах помещения тогда же были обнаружены странные рисунки, нанесенные липкой красной жидкостью и изображающие углы и многоугольники, истолковать смысл которых был не в состоянии даже высокоученый Коттон Мазер¹.

Видимо, Джилмену все же не следовало так много заниматься. Изучение таких дисциплин, как неэвклидова геометрия и квантовая физика, само по себе является достаточно серьезным испытанием для разума; когда же эти науки безрассудно совмещают с древними преданиями, пытаясь отыскать черты необычайной многомерной реальности в тумане готических легенд или просто в таинственных старых сказках, что шепотом рассказывают темными вечерами у камина, – тогда умственное перенапряжение почти неизбежно. Юность Джилмена прошла в Хейверхилле; только после поступления в Аркхемский университет он постепенно пришел к мысли о некоей внутренней связи избранного им предмета, математики, с фантастическими преданиями о древних магических таинствах.

¹ Коттон Мазер (1663–1728), воинствующий пуританский богослов из Массачусетса, проповедник религиозной нетерпимости. Автор трудов «Достопамятное провидение, касательно ведовства и одержимости», «Великие деяния Христа в Америке, или Церковная история Новой Англии» и др., в которых доказывалась реальность колдовства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.